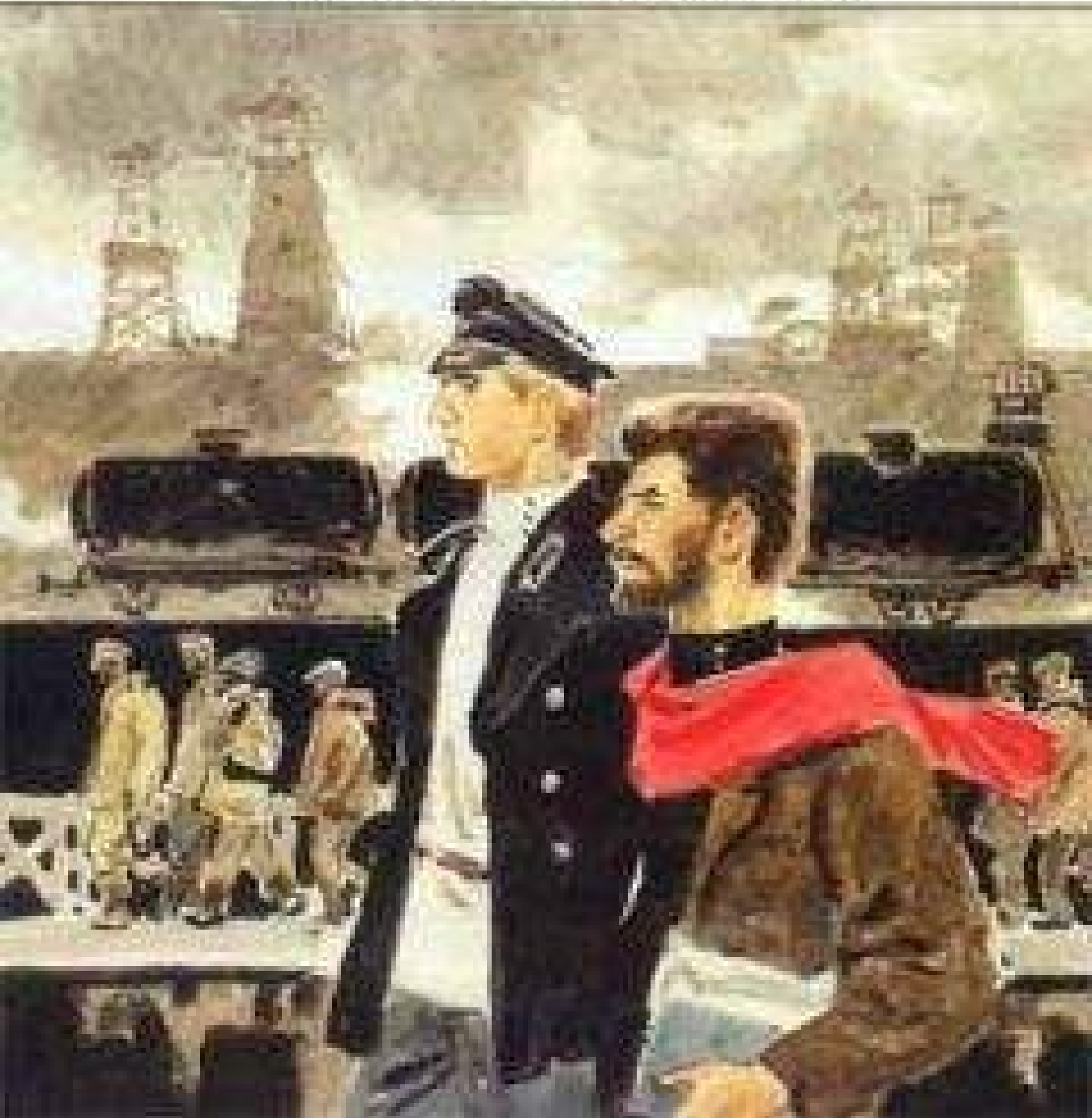


РОМАН-ГАЗЕТА

Александр Бек На другой день



Произведя всякие розыски для этой книги, собирая разные свидетельства, то изустные, то счастливо найденные в давних бумагах, погружаясь в нее мыслью, перебирая в уме будущие главы, я порою испытывал сомнение: хватит ли сил поднять или, по нынешнему выражению, потянуть дело, которое сам на себя взвалил. Однако поддерживаю решимость достойными примерами.

Вот Горький. Высоченный, сутулый, худой — сквозь темную ткань пиджака заметны выступы лопаток, шея просечена извивами крупных морщин, — он шагает по настилу сцены к кафедре в зале Московского комитета партии. Это торжественный вечер в честь пятидесятилетия Ленина. Ряды сплошь заняты. Сидят даже на краю помоста, предназначенного для президиума и ораторов. С виду Горький угрюм, бритая, с шишкообразными неровностями голова наклонена, впалые глаза затенены насупленными кустистыми бровями. В зале тихо; Горький, ухватившись обеими руками за ободки кафедры, молчит. Лишь двинулись, проступили желваки. Потом шевельнулись обвислые моржовые его усы, окрашенные над губой многолетним, дегтярного тона осадком никотина. Усы шевелятся, будто он уже начал говорить, но голосовые связки, как можно понять, стиснуты спазмом волнения.

Горький прокашлялся. И приподнял голову. Стали видны большие на удивление его ноздри. Проглянула и синева глаз. Все еще хмурясь, он неловко подвигал костлявыми плечами и развел длинные руки. Это был откровенный жест беспомощности. Хрипловатым басом, окая, он произнес первую фразу:

— Товарищи, есть люди, значение которых как-то не объемлется человеческим словом.

Досадливо крикнул. Возможно, его требовательное ухо литератора — крупное, грубовато вылепленное — отметило нескладность оборота «человеческим словом»: каким же, в самом деле, оно может быть иным? Впрочем, до стилистики ли Горькому сейчас? Года полтора назад, в сентябре 1918-го, он пришел к Ленину, который был тогда чуть ли не смертельно ранен двумя пулями, что почти в упор террористка всадила ему в шею и в грудь, пришел после длительных несогласий с Лениным и с того дня заново определил свое место во все ожесточавшейся борьбе, впрямую вопрошавшей «на чьей ты стороне?», решил: если стреляют в революцию, то я с ней, в ее рядах! Однако на большом политическом собрании Горький со времен Октябрьского переворота, кажется, лишь впервые выступал.

— Русская история, — глухо громыхал его бас, — к сожалению, бедна такими людьми. Западная Европа знает их. Вот Христофор Колумб...

Приостановившись, Горький опять крикнул, махнул рукой — было видно, что он не находит выражений, недоволен, что его занесло к Колумбу, и, не развивая такого сравнения, явно скомкав мысль, заговорил, забухал дальше:

— Мы можем назвать в Западной Европе целый ряд таких людей...

Первая минута истекла, глуховатый, но уже без хрипоты голос стал внятней:

— Людей, которые будто играли как-то, Горький опять недоумевающе повертел плечами, будто говоря: «Тут черт ногу сломает», играли каким-то рычагом, поворачивая историю в свою сторону.

И живым неожиданным жестом как бы крутнул перед собой невидимый глобус. И улыбнулся. Брови вскинулись, совсем ясно проступили синие, с какой-то озорнинкой глаза.

Пожалуй, эта улыбка, явственно выражавшая влюбленность в того, о ком шла речь, имела и еще некий оттенок. В ней точно читалось: «Знаю, товарищи, что рассуждаю не марксистски, но ведь вам известно, что я плохой марксист, уж не взыщите».

Снова прихмурясь, Горький продолжал:

— У нас в истории был, — тут он щелкнул пальцами, словно ища и не находя верного слова, щелкнул и поправил себя: Нет, я сказал бы, почти был: Петр Великий таким человеком для России.

Выдержал паузу, подумал и, подняв указательный палец, произнес:

— Вот таким человеком — только не для России, а для всего мира, для всей нашей планеты — является Владимир Ильич.

Далее Горький опять затруднился, опять вертел о воздухе пальцами, не то лоя, не то вылепливая на глазах у всех какую-то нужную фразу. И тут же признался:

— Нет, не найду, хотя и считаюсь художником, не найду слов, которые достаточно ярко очертили бы... Вновь он водил руками, поднимая их выше головы, как бы не в силах нечто схватить, объять. — Такую коренастую... Такую сильную... Такую огромную фигуру...

Опять слово ему не повиновалось. Он не сдержал слезу, затерявшуюся в крупной морщине, словно прокопанной от скулы к подбородку. И не стеснялся умиленности — той умиленности, какую в художестве не потерпел бы: она под пером сладка.

А затем, месяц или два спустя, Горький попытался нарисовать Ленина штрихами писательского своего пера. Тот ранний вариант литературного портрета заканчивался такими строками: «Я снова пою славу священному безумству храбрых. Из них же Владимир Ленин — первый и самый безумный».

Это маленькое изящное произведение вызвало резкий отклик Ленина. Впрочем, гнев его был направлен не столько против автора — возобновив прежнюю дружбу, Ленин, наверное, лишь рассмеялся бы, сыронизировал бы насчет «самого безумного», сколько по адресу журнала «Коммунистический Интернационал», напечатавшего заметки Горького о Ленине. Не вынося малейшей неряшливости в области теории, Ленин, как только прочел эти посвященные ему страницы, тотчас же стремительной, будто наклоненной в беге искосью, по обыкновению без помарок, выделяя подчеркиванием отдельные слова или даже части слов, написал проект постановления Политбюро о том, что в высказываниях Горького, помещенных в «Коммунистическом Интернационале», «не только нет ничего коммунистического, но много антикоммунистического».

Однако, чтобы не впасть в грех упрощения и односторонности — быть может, самый опасный для задуманного нами труда. — дадим еще коротенькую справку. Это выдержка из письма Надежды Константиновны Крупской, посланного Горькому: «...Ильич в последний месяц жизни отыскал книгу, где Вы писали о нем, и велел мне вслух читать Вашу статью. Стоит у

меня перед глазами лицо Ильича, как он слушал и смотрел в окно куда-то вдаль — итоги жизни подводил и о Вас думал».

Так-то, друг-читатель. Не проста, не выведена прямыми линиями история, которую нам предстоит воспроизвести. Что же, к делу!

2

Вернемся в зал Московского комитета партии, — зал, что звался красным, ибо его стены были выкрашены темно-вишневым колером, — на заседание, посвященное пятидесятилетию Ленина.

Пусть эта зарубка, этот вечер 23 апреля 1920 года так и послужит началом нашей хроники.

Юбилей происходил без юбиляра, Владимир Ильич не захотел выслушивать поздравительных речей, отверг все уговоры, назвал затею никчemuшной. Передавали, что, высмеивая назначенное чествование, он обратился к самому себе по Чехову: «Глубокоуважаемый шкаф!» — и сказал, что ни за какие коврижки его не заманят сыграть эту глупейшую, да и попросту непристойную роль.

Тем не менее на вечере разнесся и другого рода слух, исходивший не то от Надежды Константиновны — вон она, очень худая, с приметной родинкой справа на лбу, с непривычным для ее щек румянцем сидит в седьмом или восьмом ряду, — не то от светловолосого Бухарина, поворачивающего туда-сюда лысеющую голову, мальчишески непоседливого даже и тут, за столом президиума, слух, что все-таки в какой-то мере удалось уломать Ленина: он здесь появится, правда, лишь после того, как отговорят ораторы.

Докладчиком выступил Лев Борисович Каменев, тогдашний председатель Московского Совета или, как в шутку говорили, лорд-мэр Москвы. В этой шутке содержалось что-то меткое. Он, член Политбюро Российской Коммунистической партии, что вершила самую решительную в мировой истории революцию — революцию всех обездоленных против всех угнетателей, — впрямь являл в своем облике, в повадке некую напоминавшую о диккенсовской Англии респектабельность. Спокойные плавные жесты подошли бы представителю безукоризненно солидного, устойчивого дела. Осанку подчеркивал красивый постав головы, которую увенчивала русая, с отливом золота густая шевелюра, уже на висках с проседью. Линии столь же золотистых, с рыжей окаемкой, бородки и усов были мягки. Спокойно двигались белые породистые руки. Мягкость, природное добродушие сквозили и в выражении голубых, выпуклых в меру глаз, взиравших сквозь пенсне. Военного образца коричневая куртка, именовавшаяся френчем, на нем как-то не замечалась, обмявшимися складками свободно облегал кругловатые плечи, плотную, склонную, как говорится, к полноте, но отнюдь еще не располневшую фигуру. Каменев не обладал даром сильной самостоятельной мысли, и, вероятно, поэтому он, несмотря на эрудицию, юмор, острый, быстро схватывающий ум, ораторскую и литературную талантливость, оставался все же несколько безличным, бесцветным. Вместе с тем он обладал редкой способностью резюмировать, подводить итог высказываниям, формулировать сложившееся мнение, не впадая в крайности, в пристрастия. И сплошь и рядом превосходно исполнял роль председателя или докладчика.

Ушли, казалось, в дымку времена, дни семнадцатого года, когда он — в апреле и затем в октябре — схватывался с Лениным, получая в ответ нещадно разящие удары. Мысль, воля, непримиримость Ильича сгибали Льва Борисовича. Со склоненной повинной головой он возвращался к Ленину. И теперь эпически спокойно, основательно, в духе своих лучших

резюме произносил вступительный доклад к чествованию Ленина:

— Человек величайшего ума, величайшей воли, величайшего напряжения и величайшей прозорливости. Я не хочу употреблять здесь, в родной семье борцов коммунистов, слов слишком широковещательных и слишком больших, но если все это сжать в одно-два слова, то это слово было бы, конечно, гениальная способность Владимира Ильича.

Фразы несколько шаблонны, уже стерты в обиходе, но пробивается живая теплота:

— Человек, который неоднократно оставался один, человек, который неоднократно объявлялся сектантом, раскольником, который неоднократно видел, что он как будто оказывается в стороне от широкой исторической дороги. И вдруг выяснялось, что эта широкая историческая дорога пролетариата лежит там, где стоит Ленин.

Что-то личное, не свойственное стилю Каменева, еще заметней возникает в его речи:

— Я не знаю случая, чтобы Ленин задумался над расколом с самым близким своим другом, с самой могущественной организацией, если он был уверен, что они отступили от теории пролетарского социализма.

Перейдя к прежнему эпическому изложению, Каменев выделяет самые дорогие Ленину, заветнейшие мысли:

— Русский пролетариат принужден был ходом истории России поставить вопрос о власти и государстве. Первые образцы революционного решения вопроса о власти были даны Владимиром Ильичем.

Сейчас ни одной интонацией Лев Борисович не показывает, что в свое время и он отвергал эти идеи Ленина. Да, было и былшем поросло. Зато потом он, ничуть не поступаясь солидностью, заново крестился, так сказать, в ленинской купели, стал как бы ревнителем ленинской теории государства.

— Когда Владимир Ильич сказал, что трудящиеся низы сами должны управлять государством, это было в истории человечества действительно новым словом, Ленин создал эту новую теорию, конечно, опираясь на гениальное предвидение Маркса, извлек его и разработал в целую систему, воплотил в ежедневную практику управления. Вот это абсолютное доверие, эта абсолютная уверенность, что каждый чернорабочий может взяться за государственное строительство, вот это и спасает наше дело.

3

Вслед за Каменевым говорил Горький.

Среди слушателей находился Алексей Платонович Кауров, прибывший с Юго-Западного фронта делегатом Девятого партийного съезда, задержавшийся в Москве из-за болезни — он на пути в столицу подхватил еще гулявшую по стране жестокую хворь, что звалась испанкой, ходил, температура, на съезд и был вдобавок наказан воспалением легких. Лишь вчера выпущенный врачами на волю, он пристроился тут вместе с другими, кому не досталось места в зале, прямо на половицах сцены близ добротной сработанной трибуны, которая — дитя революции — не блистала лаком, была промалевана немудрящей морилкой. В том же углу расположились и стенографистки, порой недовольно шикавшие на теснившихся и к их столику безместных сидельцев. Доставалось и Каурову, иногда ворочавшемуся или по живости природы общавшемуся шепотком с соседями. Уловив идущее от столика «тс-с-с», он

всякий раз картинно зажимал кулаком рот, потом просил извинения улыбкой, что выказывала чуть обозначившиеся ямочки на осунувшихся в дни болезни щеках, где, правда, уже пробивался свежий румянец, характерный для Каурова, словно добавлявший мазок наивности серьезным его чертам.

Ему здесь не привелось сбросить с плеч шинель — опоздав, он пренебрег раздевалкой, прошел напрямик, благо тут, в Московском комитете, как, впрочем, в те годы и повсюду, не было на сей счет строгостей. Примостившись на дощатом настиле, он снял изрядно мятую военную фуражку, обнажив небольшую лысинку, образовавшую на самой макушке розовый правильный кружок среди льняных тонких волос. Белесый короткий зачес странно сочетался с густо-черными, точно нанесенными углем, бровями. Так перемешались, перепутались в нем черты отца, русского полковника, и грузинки матери.

Время от времени Кауров наскоро фиксировал в записной книжке некоторые, на его взгляд, чем-либо знаменательные, сказанные с трибуны слова. Сегодняшняя его карандашная скоропись, подчас едва разборчивая, где зачастую окончания слов отсутствовали, не залежится, пойдет в дело, будет прочтена вслух сотоварищам-политотдельцам; понадобится, наверное, и для его докладов на партсобраниях в частях армии, с которой он делил и невзгоды отступления и победный путь на берега Черного моря, — завтра-послезавтра он снова укатит туда.

Придется, должно быть, и во фронтовую газету дать отчет о вечере, что называется, по личным впечатлениям. Однако это-то для него, сотрудничавшего еще в дореволюционной «Правде», разлюбезное занятие: он охотно посидит над статьей за полночь, были бы бумага, карандаш и табак!

Как и притихшую аудиторию, Каурова растрогала нескладница горьковской речи, признание: слов не нахожу, не понимаю, совершенно нечто чудесное, необъяснимое совершено Лениным, редчайшим в истории человеком, которому под силу чудеса.

Опять черкнув в записную книжку строку-другую, Алексей Платонович (или, коротко, Платоныч, как в товарищеском кругу прозвали его) посматривал на Горького.

Нечто чудесное... Да, возглавляемая большевиками революция отстояла, утвердила себя в вооруженной борьбе. Поле сражения в бывшей Российской империи — еще только в ней одной! — осталось за нами, за невиданным новым государством, новым обществом. Вот заполненные сплошь ряды. Гражданская война наложила свой отпечаток на одежду. Штатских пиджаков немного. Галстуков — один, два, и обчелся. Там и сям кожаные куртки. И суконные, с накладными карманами френчи. Несколько красных косынок, повязанных вокруг женских голов, единственные яркие вкрапления. Еще не минуло и трех лет с тех пор, как Ленин вынужден был скрываться в шалаше, а ныне...

Нечто объяснимое... Нет, не по его велению произошла Октябрьская революция. История была ею беременна. Ленин это угадал, постиг. Если не танцевать от такой печки, конечно, ничего не уяснишь... Платоныч не раз в таком духе излагал закономерность Октября в своих лекциях в армейской политшколе — он, нагруженный еще многими обязанностями, все-таки урывал время, чтобы вести там занятия.

...Место на трибуне уже занял Ольминский, давний последователь Владимира Ильича, один из старейших в этом зале. Нежно-розовая, не тронутая морщинами кожа усугубляла моложавость его лица, охваченного седой, без единого темного волоска, густой шевелюрой и вольно разросшейся столь же белой бородой.

Он, когда-то подписывавший свои статьи в большевистских газетах броским псевдонимом Галерка, теперь шутиливой ноткой развеял торжественную серьезность собрания:

— Приглашение высказаться было, товарищи, для меня нечаянным, и первым чувством у меня был страх.

Шутка дошла — дошла, наверное, потому, что в ней содержалась и правда. Стенографистка условной закорючкой обозначила: смех. Вместе с другими засмеялся и Кауров.

А седовласый ветеран партии, участник множества политических драк, неизменно воевавший на стороне, как говорилось, твердокаменного большевизма, теперь, улыбаясь почти детской голубизны глазами, продолжал:

— У Владимира Ильича есть хорошие словечки. Например, хлюпкий интеллигент. Все мы, интеллигенты, действительно хлюпики, кроме товарища Ленина и некоторых других.

Каурову в тот миг подумалось: переборщил! Себя Платоныч к хлюпикам не причислял.

Тем временем оратор, отрекомендовавшийся — в шутку ли, всерьез ли? интеллигентом хлюпиком, проделал то, о чем позабыли и председатель, и докладчик, и все, кто уже выступил.

— Тут говорили, — произнес Ольминский, — что Ленин великий организатор. Я, товарищи, внесу добавление. Да, Ленин великий организатор с помощью Надежды Константиновны, своего самого...

Загремевшие отовсюду хлопки прервали речь. Все, не жалея ладоней, аплодировали. Слышались возгласы: "Надежду Константиновну в президиум!", «Надежда Константиновна, встаньте, покажитесь!» Но она, опустив голову — Кауров со сцены мог видеть ее темно-русые волосы, разделенные неглубокой бороздкой пробора, не очень приглаженные и сегодня, заметил и запыхавшиеся, не совсем скрытые прической, ее уши, — она, опустив голову, по-прежнему сидела в седьмом или восьмом ряду. Поверх белой свежей блузки был, одет обыденный, что и на работе служил Крупской, темный, в полоску сарафан. На коленях лежали нервно сцепленные руки, давненько утратившие молодую плавность очертаний: уже пролегли выпуклости вен, угловато выдавались косточки у основания худощавых, не помилованных морщинками пальцев.

Наперекор шуму Ольминский пытался сказать что-то еще о жене Ленина:

— Самый близкий, самый верный ему человек...

Какие-то фразы пропадали в гуле. Выразительно взглянув на председателя, стенографистка держала над тетрадью замершее, бездействующее сейчас перо. Кауров все же улавливал:

— Исключительное свойство Ленина: готов остаться хоть один против всех во имя... Нет, он и тогда не один: с ним в самые-самые трудные минуты Надежда Константиновна...

Она так и не поднялась: переждала, пересидела орацию.

Платоныч вновь на нее поглядывал. Судьба в некотором роде обделила его. Ему уже тридцать два года, но женщины — друга он доселе не обрел. Бывали, конечно, увлечения, но любви, такой, в которой сплелись бы, сплывались два существа, ему знавать не привелось. Кауров привык к этой своей доле, что в мыслях как-то связывалась с мытарствами революционера, с профессией, которой он себя отдал. Но понимал: у каждого это решается особо, не выищешь рецепта. И почти не задумывался о задаче.

Выступил на вечере и Луначарский, один из одареннейших людей ушедшего в историю времени, которое является и временем действия нашей драмы или, что, быть может, пока более подойдет, репортажа в лицах.

Пленительная легкость речи, будто самопроизвольно льющейся, сочность, сочетавшаяся с афористичностью, редкая щедрость ассоциаций, экскурсов в далекое и близкое прошлое, меткость наблюдений, необыкновенный талант характеристики, способность несколькими живыми штрихами дать почти художественный словесный портрет — таков бывал на трибуне божьей милостью народный комиссар просвещения Анатолий Васильевич Луначарский.

Воевавшая революция посылала его, превосходнейшего агитатора, и на фронты. Памятью об этом явились кадры кинохроники, изображавшие Анатолия Васильевича в красноармейской гимнастерке и грубых военных сапогах близ бронепоезда. И все же вопреки всяческим превратностям тех стремительных годов Луначарский почти непостижимым способом сохранил давнюю холеность небольших усов и бородки, что на французский лад звалась «буланже». «Старый парижанин» — так иной раз под веселую руку он был не прочь рекомендовать себя.

На мясистом и вместе с тем тонко пролепленном носу прочно угнездилось пенсне в роговой темной оправе — так сказать, чеховское, хоть и без шнурка, но с предназначенным для него выступающим колечком. Эти черточки как бы олицетворяли интеллигентность; может быть, даже чуточку богемную, вольно-литераторскую.

Однако довольно писаний! Заглянем в записную книжку Алексея Платоновича, где он, если снова воспользоваться выражением позднейших времен, «взял на карандаш» и кое-что из посвященной Ленину речи Луначарского.

...Редко когда земля носила на себе такого идеалиста.

...Откуда этот неудержимый поток энергии? Почему эта суровая расправа с врагами? Только потому, что это нужно для реализации высоких идеалов.

...Непреклонность Ленина.

...Знать, чего хочет противник, проникнуть в тайники его души, прищуренным глазом рассмотреть, что он скрывает за своим словом, пронизательно его поймать — таков Ильич.

4

Председательствующий объявил:

— Слово предоставляется товарищу Сталину.

По-прежнему восседая на полу, Кауров заворочался, посмотрел туда-сюда, даже себе за спину. Вот так штука — проглядел Кобу: этим именем, партийной кличкой, и по сию пору называли Сталина давние товарищи. К ним принадлежал и Кауров. Однажды, еще в дореволюционном Питере, Коба, не склонный к излишним, скупое ему сказал: «Ты мой друг!»

Среди тех, кто обретался на помосте — даже на дальних, у задника стульев, — Сталина не оказалось. Сие, впрочем, не было в новинку; словно бы презирая тщеславие, Сталин не любил, особенно в торжественных случаях, красоваться на виду, предпочитал побыть в тени. Э, вон Коба выходит из-за кулис, из глубины, что заслонена перегородкой. Наверное, по свойственной ему привычке он там расхаживал, потягивая дымок из трубки.

Да, на ходу спокойно прячет трубку в карман военных, защитного цвета брюк. Из такого же военного сукна сшита куртка с двумя накладными верхними, на груди карманами, немного оттопыренными. Крючки жесткого стоячего воротника он оставил незастегнутыми — это

придает некую вольность, простоту его облику. Сапоги на нем тяжелые, солдатские, с прочно набитыми, ничуть не сношенными, крепчайшей, видимо, кожи каблуками. Широки раструбы недлинных голенищ.

В конце прошлого года ему минуло ровно сорок лет. Малорослый, поджарый, он идет, не торопясь, но и не медлительно. Чуточку сутулится, не заботится о выправке — этот штрих тоже будто говорит: да, солдат, но не солдафон. Походка кажется и легкой и вместе с тем тяжеловатой — вернее, твердой — он ставит ногу всей ступней. Черные, на редкость толстые, густые волосы, возможно, зачесанные лишь пятерней, вздыблены над низким лбом. За исключением лба черты в остальном соразмерны, правильны. Прикрытый жесткими усами рот, отчетливо вычерченный подбородок и особенно взгляд, чуть исподлобья — этот взгляд, впрочем, враз не охарактеризуешь, — делали сильным смуглое, меченое крупными оспинами его лицо.

Подходя к трибуне, Сталин вдруг увидел среди устроившихся на половицах сцены приметное лицо Каурова. Тускловатые, без искорок глаза Кобы выразили узнавание, под усами мелькнула улыбка — в те времена физиономия, да и повадка Сталина еще не утратила подвижности.

Его не встретили ни аплодисментами, ни какой-либо особой тишиной. Член Политбюро и Оргбюро Центрального Комитета партии, он, не блистая ораторским или литературным искусством, пользовался уважением как человек ясного ума, твердой руки, организатор-работяга, энергичнейший из энергичных. Ничего для себя, вся жизнь только для дела — таким он в те годы представлялся.

Взойдя на приступку кафедры, он сунул за борт куртки правую ладонь, левую руку свободно опустил и, не прибегая к помощи блокнота или какой-либо бумажки, спокойно, даже как бы полусутоливо, со свойственным ему резким грузинским акцентом заговорил. Фразы были коротки, порою казалось, что каждая состоит лишь из нескольких слов. Однако слово звучало весомо — быть может, именно потому, что было кратким.

Неотступно раздумывая впоследствии, много лет спустя над тем, как исказились пути партии и страны, да и над собственной своею участью, Кауров не однажды возвращался мыслью к тогдашнему, на вечере в честь Ленина выступлению Кобы.

Прорицал ли тяжелый взор Сталина схватку, борьбу, что разыгралась лишь в еще затуманенной, если не сказать непроглядной дали? Рассматривал ли, рассчитывал ли, готовил ли уже будущие смертоносные свои удары?

Некогда, чуть ли не в первую встречу — это было весной 1904 года в буйно зеленевшем грузинском городке — обросший многодневной щетиной подпольщик Коба, беседуя с исключенным из гимназии юношей Кауровым, тоже членом партии, сказал:

— Тайна — это то, что знаешь ты один. Когда знают двое, это уже не совсем тайна.

Кауров счел изречение странноватым, не придавал тогда ему значения. Но потом...

Однако не лучше ли послушать речь Сталина на вечере, о котором мы даем отчет? Сперва, впрочем, заметим: в свежем, без малого сплошь отданном пятидесятилетию Владимира Ильича номере «Правды» был опубликован и подвал Сталина «Ленин как организатор и вождь Р.К.П.». Поэтому в кругу отборных партийцев Сталин мог себе позволить как бы вдобавок к статье, выражавшей поклонение Ильичу, затронуть кое-что, не предназначенное для газеты.

Он начал так:

— Хочу сказать о том, чего здесь еще не говорили. Это скромность Ленина, признание своих ошибок. Приведу два случая.

Не заботясь порой о грамматике, все в той же неторопливой, словно бесстрастной манере, без жестов Коба изложил следующее:

— Дело происходило в 1905 году в декабре на Общероссийской большевистской конференции. Тогда стоял вопрос о бойкоте виттевской думы. Близкие к товарищу Ленину люди, а среди этих людей находились люди очень острые...

Пожалуй, лишь это выражение «очень острые» было произнесено не в ровном тоне, а выделено некоторой едкостью. И как бы приобретало скрытую многозначительность.

— Среди них, близких товарищу Ленину, — повторил Сталин (этакое как бы не нарочитое, без нажима повторение, свойственное Сталину, не ослабляло его речь, наоборот, еще сообщало ей силу, нелегко разгадываемую), — был, между прочим, Игорев, он же Горев — теперешний меньшевик; затем Лозовский, ныне член ВЦСПС...

О Лозовском знали, что он еще в 1919 году возглавлял группу социал-демократов-интернационалистов и лишь несколько месяцев назад вернулся в РКП(б).

Сталин еще пополнил перечень:

— Крайне левый Красин и другие.

В этом простом перечислении, далеко, казалось бы, от злобы дня, в этих фамилиях, которые будто только сейчас, сию минуту рождались в памяти не пользующегося никакой записью оратора, содержалось или, точнее, таилось что-то, заставлявшее внимательно слушать.

— Эта семерка, — продолжал Сталин, — которую мы наделяли всякими эпитетами, уверяла, что Ильич против выборов и за бойкот Думы. Так оно и было действительно. Но открылись прения, повели атаку провинциалы, сибиряки, кавказцы. — Сталин приостановился, выговорив это «кавказцы», ничем больше он против скромности не погрешил, не выдвинул себя, — и каково же было наше удивление, когда в конце наших речей Ленин выступает и заявляет, что теперь видит, что ошибался, и примыкает к фракции. Мы были поражены. Это произвело впечатление электрического удара. Мы устроили ему оvation. А семерка...

Оборвав или, хочется сказать, обрубив фразу, Сталин левой рукой как бы отмахнулся, что-то будто сбросил. Таков был первый его жест. Отнюдь не размашистый, даже, пожалуй, не свободный, как если бы кто-то придерживал локтевой сустав, не давал воли. Правая рука за бортом кителя вовсе не двинулась.

У Каурова, как, наверное, и еще у иных слушателей, безотчетно возникали смутные, точно пробегающая легкая тень, сопоставления. Платоныч даже не позволил себе их осознать. Семерка... Речь Кобы не содержала ни малейшего намека на современную семерку или хотя бы пятерку — в те времена Политбюро состояло лишь из пяти членов (Ленин, Троцкий, Крестинский, Каменев, Сталин) и двух кандидатов (Зиновьев и Бухарин).[1] Однако же какая штука... Нет, к чему здесь «однако»? Было бы дико, неумно — ну прямо курам на смех! — приписывать Кобе аналогии, о которых тот наверняка и не помышлял. Попросту совпадение, случайное совпадение. И ничего больше.

Сталин меж тем перешел ко второму случаю. Тут он поведал некоторые подробности Октябрьского переворота. Рассказал, что еще в сентябре Ленин предлагал разогнать так называемый предпарламент, сформированный правительством Керенского. Разогнать и

захватить власть.

— Но мы, практики, с Лениным не согласились. У нас в ЦК в этот момент было решение идти вперед по пути укрепления Советов, созвать съезд Советов, открыть восстание и объявить Съезд Советов органом государственной власти.

Опять Сталин себя не выставлял, формула «мы, практики» сочетала, казалось, скромность и достоинство. Ни капли лицемерия никто не смог бы различить в спокойном его тоне, в правильных, исполненных силы чертах рябой физиономии.

— Все овражки, ямы, овраги на нашем пути, — продолжал он, — были нам виднее. Но Ильич велик. Он не боится ни ям, ни ухабов, ни оврагов на своем пути, он не боится опасностей и говорит: «Бери и иди прямо».

Снова что-то покорило Каурова. «Велик... Бери и иди прямо». Иронизирует? Но тон ровен, не ироничен. Впрочем, за Кобой водится такого рода, не открывающая себя интонацией, спокойная насмешливость. Или, может быть, он, доселе так и не овладевший изгибами, тонкостями русского языка, лишь грубо обтесывающий фразу, негибко, плохо выразился. Вероятно, он сейчас себя поправит. Нет, Сталин удовлетворился своим определением.

— Фракция же видела, — продолжал он, — что было невыгодно тогда так действовать, что надо было обойти эти преграды, чтобы потом взять быка за рога. И, несмотря на все требования Ильича, мы не послушались его, пошли дальше по пути укрепления Советов и предстали 25 октября перед картиной восстания.

Хм... Что же это такое? Октябрьская революция, значит, совершена, так сказать, несмотря на ошибки Ильича? «Не послушались его...» Для чего, собственно, Сталин завел такую речь? Что в ней заложено? Предупреждение, что не всегда надо слушаться Ленина? И поработать собственным умом? Конечно, только это. И ничего больше.

— Ильич был, — говорит далее Сталин, — тогда уже в Петрограде. Улыбаясь и хитро глядя на нас, он сказал: «Да, вы, пожалуй, были правы». Это опять нас поразило.

Помолчав — такие паузы были в выступлении Кобы нередки, — он кратко закончил:

— Так иногда товарищ Ленин в вопросах огромной важности признавался в своих недостатках. Эта простота особенно нас пленяла.

Не округлив речь какой-либо эффектной концовкой, не ожидая аплодисментов, как бы равнодушный к знакам одобрения, хвалы, верный себе, своей строжайшей схиме, он оставил кафедру, зашагал не быстрой, но и не медлительной, твердой походкой в глубину сцены.

Ему захлопали. Кауров тоже подключился к небурной волне рукоплесканий, заглушив копошившиеся в нем туманные сомнения. Случайно он опять взглянул на Крупскую. Надежда Константиновна сидела, уже не опустив голову, а выпрямившись, глядя на сцену. Она не аплодировала. Суховатые сцепленные пальцы застыли на полосатой ткани сарафана. Каурову почудилось, что ее глаза, которым базедова болезнь придала характерную выпуклость, сейчас словно прищурены. Да, стали явственней гусиные лапки у глаз.

Каурову и это припомнилось впоследствии, много лет спустя, когда он раздумывал над большими судьбами, да и над собственной своей долей. И над давними-давними словами Кобы: «Тайна — это то, что знаешь ты один».

Вскоре был объявлен перерыв. Участники собрания хлынули в коридоры, на лестницу и в сени, тогда еще не именовавшиеся вестибюлем. Некоторые выбрались во двор, где темнели голые, с набухшими нераскрывшимися почками кусты и погуливал изрядно похолодавший к ночи ветерок. Лишь крайняя необходимость могла кого-либо принудить не остаться на предстоящее продолжение вечера. Все ожидали Ленина. Какими-то путями — они на фронте зовутся «солдатским телефоном» — распространилась весть: Крупская только что позвонила Владимиру Ильичу, сообщила об окончании юбилейных речей, и он уже сел в автомобиль, едет сюда.

Помост сцены в минуты перерыва обезлюдел. Вслед за другими, кто тут занимал стулья или, подобно Каурову, местечко на половицах, Платоныч, то и дело здороваясь с давними знакомыми, разговаривая на ходу с тем или иным, пошел за переборку, в примыкавшее к сцене помещение. Оно, хоть и обширное, казалось сейчас тесным. Там стояли и прохаживались, разносился гомон голосов, порой в разных концах вспыхивали раскаты смеха. Немало известных в партии острословов, мастеров шуток оказалось здесь. Быть может, ради исторического колорита следовало бы выхватить, зарисовать еще несколько лиц, однако неотвратимые законы действия велят нам: вперед!

Достав папиросу, Кауров пробирался к раскрытому настежь окну, возле которого сгрудились курильщики. И вдруг малоприметная боковая дверь распахнулась, оттуда чуть ли не прямо на Каурова быстро шагнул Ленин. В одной руке он держал папку, другая уже расстегивала пуговицы демисезонного, с потертым бархатным воротником пальто, купленного еще за границей. Исконно российская кепка, служившая, видимо, со дней возвращения Ленина в Россию, покрывала его голову. В тени козырька был заметен живой блеск небольших глаз, прорезанных несколько вкось, словно природа здесь положила монгольский штришок, еще, пожалуй, усиленный приметными на худощавом лице выступами скул. Широкий нос, крупные губы, в уголках которых будто таился задор или усмешка, темно-рыжие, уже явно нуждавшиеся в стрижке, залохматившиеся борода и усы — все это было не то профессорским, не то мужицким, характерно русским: русский профессор, как известно, частенько смахивает на мужика.

Едва не столкнувшись с Кауровым, Ленин проговорил:

— Извините.

И, присмотревшись, воскликнул:

— А, математик! Здравствуйте.

Он сдернул кепку, обнажив мощный лысый купол, впоследствии бесчисленно описанный. Не раз в этих описаниях фигурировало имя мыслителя древности Сократа: сократовский лобный навес, сократовские выпуклости. Здесь, однако, просится в текст и свидетельство иного рода. Пусть читатель примет его вместо лирического отступления.

Роза Люксембург в 1907 году в Штутгарте на конгрессе Второго Интернационала сказала Кларе Цеткин:

— Взгляни хорошенько на этого человека. Обрати внимание на его упрямый, своевольный череп. Настоящий русский мужицкий череп с некоторыми слегка монгольскими линиями. Череп этот имеет намерение пробить стены. Быть может, он при этом расшибется, но никогда не поддастся.

Такой выдержкой из книги Цеткин ограничимся.

Владимир Ильич сдернул кепку и, не без досады крякнув, почесал в затылке. Каурову припомнилось: вот точно так же широкая кисть Ленина потянулась к затылку, почесала остатки волос в один далекий день, свыше десяти лет назад в Париже, когда он, Кауров, сидел у Ильичей, как называли в эмиграции Ленина и Крупскую.

В ту пору Андрей Платонович — или, по партийной кличке, Ваню — был студентом политехнического института. Выслеженный в Баку царской охранкой, едва не угодивший в полицейскую засаду, он по решению большевистского комитета распростился с городом нефти и, отсидевшись некоторое время в имении отца, полковника в отставке, раздобыл заграничный паспорт и махнул на чужбину. В Льеже ему удалось выдержать экзамены, стать полноправным первокурсником физико-математического отделения, и с тех пор он наконец мог предаться математике, в которой с детства был силен, да и другим, к ней близким, его тоже манящим дисциплинам. Отец обеспечивал ему средства на жизнь.

И все же Алексея одолела тоска-тоска по России, по революционной работе, по той дисциплине, что звалась партийной. Он, правда, и здесь, в эмиграции, постарался не оторваться от партии, вошел в льежскую большевистскую группу, иногда наезжал и в Брюссель, где дискуссионные схватки были более оживленными. Однажды даже взял слово в дискуссии, когда некий бывший большевик произнес с трибуны: «Надо отбросить два вредных предрассудка. Первый — что у нас есть партия, второй — что в России произойдет революция!» Свои возражения румяный востроносый товарищ Ваню, еще носивший кавказскую, со множеством пуговиц рубашку, стянутую в талии тонким, оправленным в серебро ремешком, изложил с чувством, с огоньком, опираясь на опыт и право революционера, поработавшего среди масс.

А затем вновь угрызался. Не расходится ли его слово с его делом? Все сильнее тянуло в Россию. Отдав дань раздумьям, внутренней сумятице, Кауров обрел душевное равновесие, твердо решив: вернусь! Возвращение не было для него особо затруднительным, ибо в доставшихся ему превратностях он, однако, оставался легальным, жил по собственному паспорту.

Большевистский заграничный центр обосновался в те годы в Париже. Кауров явился туда за поручениями. Ему на следующий день сказали, чтобы перед отъездом он зашел на квартиру Ильичей — улица Мари-Роз, четыре.

— Иди, поговоришь со Стариком.

Такое именование — Старик — прочно утвердилось за Лениным. Тот и сам не раз письма друзьям заканчивал этак: «Ваш Старик...»

6

И вот десять лет спустя в Московском комитете партии в комнате за сценой Кауров, уже наживший и круглую лысинку, и взлизы, подбирающиеся к ней, держа в руке военную фуражку с красной жестяной на околышке звездой, в шинели, которую наискось пересекает ремешок полевой сумки, вновь лицом к лицу с Ильичами.

Не раз в годы революции Алексей Платонович видел и слышал Ленина то издали, то поближе, но лишь теперь впервые после краткого парижского знакомства с ним разговаривает.

В комнате гомон сменяется затишьем, распространяющимся, будто волна, — заметили

появившегося Ильича. Оглянувшись на жену, Владимир Ильич опять обращается к Каурову:

— Настали-таки или, вернее, настают, товарищ Ваню, времена, когда нам требуются математики. — Стремительность вновь овладевает Лениным, он чуть ли не скороговоркой кидает вопросы: Как у вас на сей счет обстоят дела? С тех пор еще учились? Закончили математический?

— Не кончил, Владимир Ильич.

— Наверстывать думаете? Отвоюем, и наверстывайте!

Кругом водворяется прежний живой шумок. Нет, впрочем, не совсем прежний — поглуше. Сунув кепку в карман пальто, Ленин произвольным движением крепко, словно бы с мороза, потирает руки. Потирает уже на ходу, быстро шагая. Вот кому-то он кивнул, с кем-то перебрался словом, приостановившись, фразой-другой и опять пошел широким скорым шагом.

Алексей Платонович здороваётся с Крупской. Она мягко, но, пожалуй, несколько рассеянно улыбается ему. И снова ее зеленовато-серые, выпуклые от «базедки» (так издавна в семье Ильичей называют базедову болезнь, которая в эмиграции стала неотвязной ношей Надежды Константиновны) глаза обеспокоенно следят за мужем. Что-то, вероятно, стряслось в те немногие часы, протекшие с обеда, когда по обыкновению они сошлись втроем-то есть еще и Мария Ильинична, сестра Ленина в своей кремлевской кухоньке-столовой. За обедом Ленин был ровен, шутив; поев, играл с котенком; а сейчас не тот: охвачен волнением, возбужден. Наверное, для стороннего взгляда останется неприметным это состояние Ленина, скачок внутреннего его накала, ведь он и обычно-то порывист. Крупская, однако, разгадывает проникновенней. Что-то произошло. Даже походка его чуть изменилась, корпус, как в беге, слегка вынесен вперед. Таким он бывал в самые значительные, в решающие дни. Из-за чего же теперь взволнован? Конечно, причина не в этом вот юбилейном вечере, который он вышучивал. Но в чем же? Не приключилось ли чего на заседании Совнаркома, где только что он председательствовал? Или, может быть, она ошиблась? Может быть, ей лишь мерещится, что Ильич как-то особенно заряжен?

В углу у вешалки Ленин энергичным движением высвобождается из своего пальто. Нечаянно пальто увлекает за собою и рукав расстегнутого пиджака. Ленин на какие-то мгновения остается в жилете и в голубоватой линиялой сорочке. Мягкий манжет аккуратно стянут запонкой. Воротник тесно с помощью цепочки прилегает к проглаженному темному галстуку. Видно, как широка, объемиста грудная клетка. Ткань сорочки обрисовывает мускулистые, дюжие выступы плеч.

Прозванный еще в свои молодые годы Стариком, он и сейчас, когда стукнуло полсотни, отнюдь не стар. Атлетическое его сложение как бы предвещает, что он еще долго будет таким же крепышом, здоровяком. Чудится, нет ему износа.

У Платоныча, неотрывно глядящего на Ленина, мелькает мысль: его здоровье — это несокрушимость революции.

Усмехаясь собственной оплошности, Ленин быстро надевает пиджак. Его уже обступили, поздравляют. Он, выставив перед собой широкие короткопалые ладони, этим картинным жестом защищает, отказывается принимать поздравления. И вдруг громко разносится его, всем тут знакомый, с характерной картавостью голос:

— Анатолий Васильевич, вы опять, кажись, уда-а-ились в идеалистическую чушь. Гово-о-ят, возвели и меня в идеалисты.

Луначарский, с кем-то оживленно разговаривавший, круто оборачивается и, придерживая

покачнувшееся на мясистом носу пенсне, умоляюще опровергает:

— Владимир Ильич, поверьте. Даю вам слово, это...

Взрыв хохота прерывает его уверения. Выясняется, что вовсе не Ленин обратился к Анатолию Васильевичу. Это сделал, подражая с удивительным искусством говору Ленина, записной шутник, чернявый подвижный Мануильский, автор множества анекдотов, наделенный и талантом имитатора. При случае он разыгрывает целые сценки в лицах, изумительно копируя любой голос и повадку. Роль Владимира Ильича является одним из коронных номеров его репертуара. И уж так повелось: где Мануильский, там неудержимый смех.

Ленин осуждающе покачивает лобастой головой. Расшалились, словно дети. Но явился же он сюда не для того, чтобы наводить скуку. Вновь непроизвольно потеряв руки, он и качает головой, и улыбается. Кто-то острит:

— Неужели и сегодня, Владимир Ильич, у вас чешутся руки задать порку?

— Напрашиваетесь, батенька? — тотчас откликается Старик.

И длится смех. Покрасневшему Анатолию Васильевичу тоже не остается ничего более, как рассмеяться.

Шутка Мануильского, раскаты хохота заставили почти всех обернуться. Лишь Сталин мерно шагнул к противоположной стене. Только пыхнул дымком из трубки. Видна его сухощавая, облегаемая военной, со стоячим воротником курткой сутуловатая спина.

7

Меж тем несколько кудлатый, с темной щеточкой усов, весь как бы на шарнирах, Мануильский не унимается, некий бесенок подбивает его отколоть новое коленце. Озорно посмотрев на Сталина, он опять искуснейше воспроизводит грассирующий говорок:

— А вы, това-а-ищ...

Уже на кончике языка повисло: Сталин. Вдруг непревзойденный имитатор запинается. К нему с неожиданной, будто кошачьей легкостью повернулся Коба, вперил тяжелый взор. Черт возьми, каким нюхом Коба разгадал, что ему в спину нацелена стрела? Затылком, что ли, видит? Глаза Сталина сейчас недвижны, в карей радужке явственно проступил отлив янтаря.

Под этим взглядом Мануильский на миг, что называется, прикусывает язык. Однажды этот весельчак уже имел случай убедиться, что со Сталиным лучше не шутить.

Случай был таков. Поезд Сталина, возглавлявшего Военный совет Царицынского фронта, шел с Волги в Москву. Охрана в теплушке, дежурные пулеметчики на бронеплощадке на всякий случай прикрывали поезд. В хвосте двигался вагон Мануильского, которому была тогда поручена горячая работа чрезвычайного комиссара продовольствия в районе Украины и прилегающих южных областей.

В пути Мануильский коротал вечерок у Сталина в его вместительной, по вагонным масштабам, столовой. Туда сошлись некоторые близкие Сталину люди, сопровождавшие его. За стаканом вина Мануильский разыгрался. Кого только он в тот вечер не показывал! Начал с Троцкого, воспроизвел металлически чеканный голос, сумел даже, как божьей милостью

иллюзионист, достичь того, что присутствующие вдруг словно узрели несколько высокомерный профиль Троцкого, профиль не то Мефистофеля, не то пророка. Неприязнь, вражда между Сталиным и Троцким в те месяцы — в жизни Сталина «царицынские» распылалась, стала открытой. Эффектные сценки с участием Троцкого вознаграждались хохотом. Удались на славу и другие импровизации-перевоплощения.

Уже запоздно, что называется, под занавес Сталин спросил:

— А меня показать можешь?

— Пожалуйста!

И разошедшийся, слегка под хмельком гость талантливо в нескольких эпизодах сыграл Сталина. Придал физиономии грубоватость. Каким-то фокусом заставил глаза утратить блеск. Изобразил: Сталин, сунув руку за борт френча, диктует телеграмму: «Я, Сталин, приказываю дежурному немедля отправить по назначению. Москва. Ленину. Пусть Мануильский даст телеграфное распоряжение своим уполномоченным не захватывать наших продовольственных грузов и мануфактуры, не противодействовать приказам Сталина. Копию за номером мне, Сталину. Горячий привет. Сталин».

За столом вновь хохотали. И больше всех смеялся Сталин.

Распрощавшись, вернувшись к себе, Мануильский сладко уснул под убаюкивающее постукивание, покачивание вагона. Утром еще сквозь дрему он неясно ощутил странно долгую тишину и неподвижность. Оказалось, его вагон отцеплен, стоит в тупике на какой-то глухой станции.

С того времени Мануильский уже не рисковал шутить со Сталиным. Теперь поддался было соблазну, но, встретив взгляд Сталина, осекся.

И в мгновение перестроился. Восклицание, имитирующее голос Ильича, прозвучало так:

— А вы, това-а-ищ... э...э... Каменев? Изволили засаха-аинить наше госуда-а-ство? Сп-я-ятали в ка-а-ман бю-о-ок-аатизм? Благода-а-ю, п-е-евосходнейший пода-а-ок!

Давно замечено, что артист в сфере своего таланта предстает человеком более тонкого, более проникновенного ума, чем в повседневности. Это следует в какой-то мере отнести и к Мануильскому.

Коротенькое восклицание угодило, что называется, в точку. Интонация ленинской иронии столь уместна, что удастся на минуту обморочить и достопочтенного «лорд-мэра». Не распознавший подвоха, Каменев благодушно возражает:

— На юбилее и про бюрократизм? Не бестактно ли?

Ленин раскатисто хохочет. Сдается, все тело участвует в этом приступе безудержного смеха, ноги пружинят, приподнимая и вновь опуская раскачивающийся туда и сюда корпус. Опять смеются и вокруг. Слышно, как Ленин, еще рокоча, выговаривает:

— Попались, батенька! — Уняв себя, он продолжает: — А по мне, долой такие юбилеи, на которых нельзя огреть коммунистических чинуш. И, посерьезнев, добавляет: Выдавать теперешнюю нашу республику за образец — это такая, гм, гм, снисходительность, из-за которой в один прекрасный день нас с вами повесят.

— Но вы же сами, Владимир Ильич, писали, что...

Ленин отмахивается:

— Доводилось, доводилось писать и глупости. Но такое лыко нам в строку не поставят, если не заважничаем.

...Выставив плечо, Ленин пробирается к Сталину и, взяв его за локоть, увлекает к свободному простенку. Они встали рядом, приблизительно равного роста, один — пятидесятилетний, в послужившем опрятном европейском костюме, не расставшийся во все годы российских потрясений даже с жилеткой, с запонками, с цепочкой в косых срезах воротничка, живо поворачивающий туда-сюда отсвечивающую крутизну лысины, другой — на девять лет моложе, в одежде фронтовика, на вид невозмутимый, с копной отброшенных назад черных толстых волос над узким лбом.

Из внутреннего пиджачного кармана Владимир Ильич достает сложенную вчетверо бумагу, которую час-полтора назад ему привез мотоциклист или, как тогда говорилось, самокатчик, развертывает и без слов подает Сталину. Бумага помечена грифом: «Полевой штаб Революционного Военного Совета Республики, Совершенно секретно». В сообщении говорится, что сегодня, 23 апреля, на Западном фронте вторая и третья галицийские бригады, ранее перешедшие к нам от Деникина, подняли восстание в районе Летичева, то есть на стыке 12-й и 14-й армий, и повернули оружие против советских войск. На этом участке фронта образовался опасный разрыв. Для подавления мятежа в район Летичева направлены резервы обеих наших армий.

Прочитав, Сталин поднимает голову. Ничто в его лице не изменилось. Не разглядишь душевных движений и в жесте, каким он возвращает бумагу Ильичу. Обоим отлично известны ходы и контрходы в попытках закончить миром войну с Польшей. Воинственный, верующий в свою историческую миссию, глава Польского государства Пилсудский, соглашаясь на переговоры, вместе с тем отклонил предложение установить перемирие на советско-польском фронте. Там как бы в предзнаменование близкого конца войны уже много недель не было боев, но... Но Ленин еще с февраля, когда обозначился разгром Деникина, требовал перебрасывать и перебрасывать войска на усиление Западного, словно бы тихого фронта. Как раз сегодня Первая Конная армия, прославившаяся в боях на юге, сосредоточенная под Ростовом, выступила в тысячекилометровый марш на запад. А теперь вот галицийские бригады, занимавшие изрядный отрезок фронта — можно угадать безмолвный комментарий Ленина: «Мы тут были не рукасты, ротозейничали», галицийские бригады восстали, далеко опередив прибытие наших новых крупных сил. Польские войска еще не двинулись в брешь, как бы не реагировали. Однако не последует ли удар завтра-послезавтра?

— Увертюра? — вопросительно произносит Ленин.

Ответ короткий:

— По-видимому.

Вот и вся беседа. Это поистине спетость, — от глагола «спеться», принадлежащего к излюбленным в словаре Ленина, — понимание друг друга буквально с одного слова.

8

Раздается настойчивый приглашающий трезвон. Достав карманные часы, Ленин кидает взгляд на циферблат. Уже и отсюда, из-за кулис, гурьбой тянутся в зал. Кауров бросает окурок в урну-пепельницу и пристраивается к покидающей кулисы чередке. Вдруг он слышит:

— Того, здорово!

Никто, кроме Кобы, не называл так Каурова. Но Сталин когда-то, еще в дни русско-японской войны, наделил его такую кличкой и с удивительным упорством иначе не именовал. Да, сейчас неподалеку спокойно, как бы вне спешки, толкотни, стоит улыбающийся Сталин. Несколько лет — с памятного 1917-го им не доводилось этак вот увидеться, перекинуться словцом.

— Здравствуй, Коба.

Крепкое рукопожатие точно возрождает давнишнюю дружбу. Кауров, как ему случалось и прежде, делает некое усилие, чтобы выдержать тяжеловатый пристальный взгляд Сталина. И тоже смотрит ему прямо в глаза — узкие, миндалевидного, унаследованного с кавказской кровью сечения, цвет которых обозначить нелегко: иссера-карие, да еще с оттенком желтизны, то едва заметным, то иногда явственным.

— Какими судьбами ты здесь обретаешься? — спрашивает Сталин.

Кауров кратко сообщает про свои злоключения: ехал на съезд, заболел, врачи только теперь наконец выпустили.

— Валандаться, Коба, тут не собираюсь. Загляну туда-сюда, наберу литературы и, наверное, послезавтра в путь.

— К себе в поарм?

Произнеся «поарм» (здесь, возможно, нужна расшифровка: политический отдел армии), Сталин, не затрудняясь, назвал и номер армии. Каурову приятно это слышать: Коба знает, помнит, где работает его давний сотоварищ.

— Конечно. А куда же?

— В какой ты там пребываешь роли?

— Секретарь армейской парткомиссии.

Кто-то подходит к Сталину, обращается к нему. Тот неторопливо и вместе с тем живо отказывается:

— Минуту!

И продолжает разговор с Кауровым:

— Того, надо бы встретиться, потолковать без суеты.

— Буду рад.

Наклонившись, Сталин достает из широкого своего голенища блокнот или, верней, военную полевую книжку. Эта простецкая солдатская манера использовать раструб сапога вместо портфеля опять-таки нравится Каурову. Полистав книжку, помедлив, Сталин говорит:

— Завтра день субботний... Так... В три часа завтра ты свободен?

— Освобожусь.

— Приходи в Александровский сад. Найди там местечко около памятника одному нашему, — усмешка мелькает под черными усами Сталина, — нашему, как это записано, кажется, в «Азбуке коммунизма», прародителю.

— Какому?

— Который не прижился на российской почве. Во всяком случае, памятник не выдержал крепких морозов. Развалился на куски. Может быть, это прародителю и поделом: имел слабость, слишком любил говорить речи.

Казалось, Сталин шутит. Но и в этой тяжеловатой его шутке опять словно таится некий второй смысл.

— Робеспьер? — восклицает Кауров.

Коба кивком подтверждает угадку.

— Друг друга отыщем, — заключает он.

Сквозь переборку в почти опустевшие кулисы врывается гроыхание аплодисментов, в зале увидели Ленина.

Коба подталкивает Каурова.

— Иди, иди.

А сам, нашарив в кармане карандаш, что-то помечает на раскрытой страничке, складывает книжку, сует за голенище. И остается за кулисами.

...Ленин уже вышел к трибуне.

— Должен поблагодарить вас за две вещи: во-первых, за те приветствия, которые сегодня по моему адресу были направлены, а во-вторых, еще больше за то, что меня избавили от выслушивания юбилейных речей.

Аудитория и смеется и аплодирует. Ленин, не выжидая тишины, демонстрирует присланную ему сегодня в подарок карикатуру двадцатилетней давности, изобразившую тогдашний юбилей Михайловского — одного из столпов народничества. Среди поздравителей нарисованы и русские марксисты. Художник представил их детьми, «марксятами».

Пустив карикатуру по рукам. Ленин быстро ведет далее свою речь. Пожалуй, ее можно счесть несколько разбросанной, не подчиненной единому архитектурному каркасу. Однако каркас есть.

Вот будто вне какой-либо связи с началом оратор обращается к строкам Карла Каутского, тоже давнишним, поясняет:

— Тогда большевиков не было, но все будущие большевики, сотрудничавшие с ним, его высоко ценили.

Зал внимает цитате:

— ...Центр тяжести революционной мысли и революционного дела все более и более передвигается к славянам.

Кауров, опять присевший на помост близ стенографисток, видит на краю кулисы Кобу, уже надевшего шинель. Суховатая рука держит на весу еще не донесенную к черноте зачеса меховую шапку. Ленин читает дальше выдержку из Каутского:

— ...Новое столетие начинается такими событиями, которые наводят на мысль, что мы идем навстречу дальнейшему передвижению революционного центра, именно передвижению его в Россию...

Этой цитатой Ленин как бы пополняет арсенал доводов, которые он, взыскательный к себе марксист, без устали отыскивает в обоснование исторической правомерности того, что совершилось в России.

Вместе с тем в статье, приводимой Лениным, русский марксизм, русская пролетарская партия уже предстают вступившими в пору возмужалости. Нагляден убыстренный шаг истории. Детство, мужание и...

— Наша партия может теперь, пожалуй, попасть в очень опасное положение, — именно в положение человека, который зазнался.

Ленин режет дальше:

— Известно, что неудачам и упадку политических партий очень часто предшествовало такое состояние, в котором эти партии имели возможность зазнаться... Блестящие успехи и блестящие победы, которые до сих пор мы имели, — ведь они обставлены были условиями, при которых главные трудности еще не могли быть нами решены.

Почти всегда выступления Ленина содержат нечто поражающее, не вдруг усваиваемое, кажущееся иной раз неуместным. Такова и его сегодняшняя речь. Слушатели притихли.

Жестом обеих рук он как бы что-то округляет:

— Позвольте мне закончить пожеланием, чтобы мы никоим образом не поставили нашу партию в положение зазнавшейся партии.

Под рукоплескания, скорей раздумчивые, нежели бурные, он покидает трибунку, которую занимал не более десяти минут.

...Потом, уже после концерта, когда одетый во все кожаное шофер-богатырь Гиль захлопнул автомобильную дверку и плавно стронул машину, Надежда Константиновна, глядя на едва в полумгле различимый профиль, тихо спрашивает:

— Польша?

Владимир Ильич поворачивает к ней голову в нахлобученной кепке. Ведь о Польше он на минувшем вечере ни словечком не обмолвился. И кивает.

— Угу...

9

На следующий день выдалась теплынь. Перевалив, как говорится, за обед, пригревало апрельское солнце.

Алексей Платонович, войдя в Александровский сад, пролегший у одной из стен Кремля, сверился с карманными часами. Стрелки показывали чуть больше половины третьего. Что же, придется, значит, около получаса подождать.

По склонности южанина, он облюбовал скамью на солнцепеке, сел, распахнул шинель, освободил от фуражки светлые волосы, вытянул ноги, сегодня немало походившие. Уличная пыль сделала матовыми, припудрила головки высоких сапог, что утром он по привычке наваксил, начистил.

Здесь, под Кремлевской стеной, было по-апрельски сыро. Бежал весенний ручеек. Редкие трамваи с железным скрежетом поворачивали на закруглении, ведущем к Красной площади. Сад еще не зазеленел. Палая прелая листва прошлых годов, которую тут не трогали тогда ни грабли, ни метла, лишь кое-где пробита острыми стебельками молодой травы. Высились голые, с набухшими почками вековые липы — и врассыпную, и вдоль главной аллеи. Странная расцветка — малиновая, фиолетовая, пунцовая — еще пятнала, хотя и поблекнув, могучие стволы. Их раскрасили — Каурову довелось про это слышать — левые художники почти два года назад. Было известно, что Владимир Ильич вознегодовал, увидев размалеванные липы. Однако краску отмыть, стереть не удалось. Лишь постепенно это делали дожди да колючий снег поземки.

На аллее громоздилась бесформенная куча обломков. Из-под нее проглядывал угол каменного постамента. Это и была, как догадался Кауров, растрескавшаяся, разрушившаяся на морозе фигура бестрепетного яacobинца, звавшегося Неподкупным, сраженного заговорщиками. Лишь позже из мемуарных свидетельств Кауров узнал, что у этой скульптуры, еще целой, любил посидеть Ленин, когда он — до ранения — выходил, по ночам из прогулку сюда в сад.

Две девушки в красных косынках — такие косынки стали в ту пору модой революции быстро прошли мимо Каурова. Прошли и оглянулись на светлоголового, со смолисто-черными бровями, с хрящеватым острым носом пригожего военного. Он им улыбнулся. Снова взглянул на часы. Без двадцати три.

Прохожих было немного. Мама разных возрастов, а также и бабушки присматривали за малышами, порой еще в пеленках. Сюда были выведены и ребята, очевидно, детдомовцы, в одинаковых курточках темной фланели. Они, несмотря на голодноватое время, бегали, гомонили, увлеченные извечной, памятной по мальчишеским годам и Каурову игрой в «палочку-стукалочку».

Впрочем, Алексей рано перестал быть мальчуганом. Да и забавы подростка недолго увлекали его. Уже в пятнадцать лет, гимназистом последнего класса, он забросил все свои коллекции, его забрала страсть — та, что в некоторые времена с поразительной, не сравнимой ни с чем силой овладевает поколением, — страсть мятежника, революционера.

Пожалуй, тут течение нашего повествования делает уместным поворот в прошлое. Автору посчастливилось уже в нынешние годы, то есть во второй половине века, встретиться с Кауровым, семидесятилетним ветераном партии, посчастливилось познать его доверие, занести в свою тетрадь все, что он поведал. Выберем из этой тетради страницы, где рассказано о знакомстве, о встречах, отношениях Каурова и Кобы.

Однако в нижеследующей сценке, что служит завязкой, Коба еще не предстанет глазу. 1904 год. Летний вечер в Тбилиси — этот главный город Грузии значился в Российской империи Тифлисом. Явочная квартира на уходящей в гору узкой улочке. В комнате за кувшином вина и миской фасоли беседуют двое. Один из них Алексей Кауров. Он здоровяк, румянятся загорелые щеки. Глаза, серые с искоркой, серьезные, одухотворены. Уже исключенный из гимназии, определившийся как революционный социал-демократ, сторонник Ленина, он приехал сюда на день-другой, чтобы от имени кутаисской молодой группы большевиков договориться по важным вопросам с Союзным, то есть общекавказским комитетом, который тоже разделял большевистскую позицию. Кауров дельно, горячо говорил о закипающих в Кутаисском округе крестьянских волнениях, о революционном подъеме городской молодежи, доказывал, что следует распустить нынешний Кутаисский комитет, немощный, поддерживающий меньшевиков, и назначить новый, большевистский, боевой.

Юношу слушал степенный бородатый грузин, не забывавший, кстати сказать, обязанностей гостеприимного хозяина. За бородачом утвердилось прозвище Папаша, хотя ему тогда еще

не стукнуло и сорока. В молодости он был народником, затем, после основания группы «Освобождение труда», примкнул к марксистам. И далее неизменно шел, по собственному его выражению, «левой стороной». Воевал против «легального марксизма». Был твердым «искровцем». Последовал за Лениным при расколе партии. На роль теоретика никогда не претендовал, не литераторствовал. Заслужил славу безукоризненно чистого, честного революционера. Его моральный авторитет был непререкаем.

Папаша задавал вопросы, присматривался к гостю, порой склонял набок голову и почесывал шею. Почесывал и раздумывал, что-то взвешивал. Потом высказался. С прежним комитетом мы действительно каши не сварим. Но, может быть, удастся перетянуть того-другого на свою сторону. Возможно, надо бы кого-нибудь оставить и для преемственности.

— Но практически как мы должны действовать? И когда же получим права комитета?

Снова додумав, Папаша ответил:

— К нам в Кутаис мы пошлем товарища, который поможет это решить. И наладит дело.

Далее пояснил:

— Его зовут товарищ Сосо. Он некоторое время в работе не участвовал. У него были, — Папаша усмехнулся, — переживания после того, как мы его покритиковали.

— За что же?

— Это, товарищ Алеша, пусть будет между нами, не надо ему напоминать. Предложил сделать грузинскую партию самостоятельной. Свой Центральный комитет и тому подобное. Он парень упрямый. Не болтунишка. Ну, потрепали его: ударился ты, товарищ Сосо, в национализм. Он обиделся, не показывался месяца три. Но недавно принес заявление, которое озаглавил «Кредо». Там он послал к черту национализм! На этом и подвели черту. С кем не случается?

Разговаривая, Папаша прихлебывал слабое розовое вино, да и по-прежнему не забывал обязанности гостеприимства.

— Товарищ Сосо, — продолжал он, — сам вызывается поехать к вам в Западную Грузию, где идут волнения.

Несуетливый, приятный в общении, бородач еще несколькими фразами охарактеризовал Сосо. Проверен в серьезных делах. Есть у него и немалый марксистский багаж. Упорный, энергичный, отважный профессионал революционер.

— Ожидай его. Он организует новый комитет. И поведет работу вместе с вами.

10

Первая встреча с посланцем из Тбилиси, с человеком, который почти девять лет спустя избрал себе фамилию Сталин, отчетливо запомнилась Каурову.

Явкой служил кутаисский городской парк. Сухой восточный ветер, еще усиливавший томительно знойную жару, гнавший пыль по невымощенным улицам, пробирался сквозь заслон инжировых деревьев, каштанов, магнолий, барбариса сюда, на аллеи и тропки.

Близился вечер. К Алеше, кружившему около клумб, где белые цветы табака еще оставались по-дневному поникшими, подошел малорослый худенький лохматый незнакомец. Откинутые назад, не стриженные давно волосы — толстые, как заметил Кауров — возлежали беспорядочными прядями на непокрытой голове. Бритва давненько не касалась подбородка и щек, поросших черной, с приметным отливом рыжины, многодневной, но не густой, словно бы разреженной щетиной. Уже потом, в какую-то следующую встречу Кауров смог рассмотреть, что скрытая зарослью кожа нещадно исклевана оспой.

Сейчас он вопросительно глядел на подошедшего, ожидая, чтобы тот произнес условную фразу-пароль. Обращенные к Каурову запавшие глаза отличались каким-то особенным цветом — такой свойствен жареным каштанам, что обладают не блеском, а, по русскому словечку, туском. Кроме того, сквозила и легкая прожелть. Однако выражение глаз было веселым.

Неизвестный безмолвно показал взглядом на гуляющих. Действительно, здесь в центральном круге парка прохаживались парочки и группы, в большинство при участии офицеров во фронтовых, защитной окраски фуражках. Некоторые, прихрамывая, опирались на костыль или палку, у иных черная подвязь покоила раненую руку — русско-японская война, идущая в далекой Маньчжурии, населила город множеством привезенных сюда раненых, сделала вдруг его тесным.

— Пойдем куда-нибудь от греха подальше, — спокойно сказал незнакомец.

Кауров в мыслях тотчас признал его правоту. Так с самого начала обозначились их отношения: одному принадлежало старшинство, другой сразу это принял.

Они молча зашагали в темноватую глубь парка. Кауров имел время внимательно рассмотреть спутника.

Кончик четко вылепленного носа кругловат, однако чуть раздвоен ложбинкой, уничтожающей это впечатление кругловатости. Губы нисколько не расплывчаты. Твердо прорисован и увесистый сильный подбородок, просвечивающий из-под волос. Эту мужественную привлекательность, однако, портил низкий лоб — столь низкий, что сперва Каурову даже почудилось, будто верхняя доля скрыта хаотическим зачесом. Убедившись в ошибке, он, впрочем, тут же нашел оправдание этой некрасивости, воспринял ее как мету простолюдина.

Одеждой незнакомец почти граничил с оборванцем: мятые обшарпанные брюки, мятый пиджак с бахромой на обшлагах. Шаг казался мягким: ступни облегла примитивнейшая обувь, стянутые ременной вздержкой истоптанные постолы, каждый из одного куска сыромятной шкуры. Засаленный ворот рубахи был расстегнут, ей явно не хватало пуговиц. «Хоть простолюдин, а неряха», подумалось Каурову. Но он и тут удержался от осуждения. Наверное, этому человеку доводится ночевать и под открытым небом. Да, под мышкой у того сверток-шерстяная легкая четырехугольная накидка, которая может служить и чем-то вроде пальто, и одеялом. По внешнему облику, по физиономии, лишенной черт интеллигентности, он мог легко сойти за бродячего торговца фруктами.

На глухой тропке отыскалась пустующая скамья. Ее наискось делила пробившаяся где-то сквозь листву полоска вечернего солнца. Тут они сели.

Вот и произнесены необходимые условные слова. Затем приехавший без околичностей заговорил о деле. Сообщил, что назначен членом Имеретинско-Мингрельского комитета партии.

— Приехал вам помочь.

— Знаю, — подтвердил Кауров.

— Так введи в курс. С меньшевиками вконец размежевались? Или еще надеетесь ужиться?

— Нет, какое там ужиться! Наша группа, товарищ Сосо...

Каурову не пришлось закончить эту фразу. Собеседник тотчас оборвал:

— Не называй меня Сосо. Он не повысил голоса, нотка была, однако, повелительной. Всем надо переименоваться. Мы обязаны сколотить строго конспиративную, а не какую-то полулегальную организацию. Борьба нам предъявляет ультиматум: или глубокая конспирация, или провал!

Не пускаясь в дальнейшие разъяснения — мысль и без того была ясна, — он неторопливо добавил:

— Зови меня Коба.

— Коба? — воскликнул Кауров. — Из романа Казбеги «Отцеубийца»?

— Да.

Кауров вспомнил выведенного писателем героя — это был мужественный горец-бедняк, неизменно благородный, ловкий, безупречно верный в дружбе, непреклонный рыцарь справедливости.

— Только зря Казбеги назвал роман «Отцеубийца», — высказал мелькнувшее сомнение Кауров. Это, пожалуй, дешевая приманка.

— Тебя такое заглавие задевает? Что же, сколь я могу судить, ты имеешь для этого некоторые основания. В самом деле, кого из нас двоих можно считать отцеубийцей?

Уже тогда, в те минуты первого свидания, Кауров уловил манеру Кобы: риторические вопросы уснащали скупую речь.

— Мой отец — «холодный сапожник», — продолжал Коба.

«Холодный сапожник» — тот, что сидит на улице и тут же чинит обувь. Подтвердилась догадка Каурова: да, с ним разговаривает человек из народа, выходец из самых низов, знавший нужду, нищету и, наверное, с раннего детства ненавидящий богатых.

— Сапожник, повторил Коба. Зачем я его стану убивать? — Он опять выдержал паузу после этого очередного риторического вопроса. — А твой отец полковник. И к тому же хотя и небольшой, но все-таки помещик.

Ага, значит, Коба приехал уже осведомленный. Да, родитель Алексея был полковником в отставке и теперь жил на покое в собственном имении недалеко от Кутаиса. Российская казна выплачивала ему пенсию — 250 рублей в месяц. А те, кто вынужден был продавать пару своих рабочих рук, труженики в его поместье, нанимались, как и по всей округе, за 100 рублей в год. Когда-то, еще малышом, Алеша был поражен этой несправедливостью, с ней не мирилась совесть.

— Ошибусь ли я, — меж тем говорил Коба, — если предположу, что он и поныне посылает тебе деньги?

Простой грубоватый вопрос требовал ответа.

— Не ошибешься, подтвердил Кауров. Получаю от него сорок рублей в месяц.

Коба удовлетворенно усмехнулся.

— А что ты делаешь на его деньги? — Снова он выдержал паузу. — Подготавливаешь революцию. Намереваешься отобрать у него и землю и царскую пенсию. Он это может и не пережить. Тебя это, однако, не останавливает? А?

— Не останавливает.

— Получается, следовательно, что как раз ты и есть отцеубийца. Да еще и у отца же берешь на это деньги.

Коба засмеялся, довольный своей шуткой. Смех тоже был веселым, как и взгляд. Кауров увидел его зубы, крепкие, подернутые желтизной, немного скошенные внутрь. Конечно, этот Коба не лишен юмора. Правда, тяжеловатого: мотив, казалось бы, к юмору не располагал. И логика Кобы была сокрушительна. Да, сильный, видимо, человек. Сильный работник. И возразить нечего. Все же Кауров нашелся:

— О таких вещах, товарищ Коба, еще Гете размышлял. У него сказано: теперь роль древнего рока исполняет политика.

— Где же Гете об этом говорил?

Полоска солнца уже сползла со скамьи, почти померкла. Однако еще пробивались последние оранжевые лучи. Один будто застрял в щетине Кобы, явственно отблескивала примесь рыжины. Были ясно видны и глубоко посаженные его глаза. Теперь они вдруг сменили выражение: стали как бы вбирающими, впитывающими. Впоследствии Кауров не раз схватывал во взгляде Кобы такую, казалось бы, далекую от дел внимательность: сын сапожника как бы на ходу пополнял образование, нечто усваивал.

— В беседах с Эккерманом, — ответил Кауров. — Если хочешь, дам почитать.

— Пока не надо. Не до Гете... — Опять в словах просквозил грубоватый юмор. — Значит, зови меня Коба. А тебя я буду называть Того.

— Того? Что за Того?

— Не знаешь? Японский адмирал, который напал без предупреждения на русскую эскадру. Вот и ты нападай без предупреждения.

Каурову, однако, кличка не понравилась.

— Нет... Ну его к черту, этого Того. И почему тебе это взбрело? Разве я похож на японца?

Нс отвечая, Коба глядел на Каурова. Конечно, этот лобастый, светловолосый, с черными, как два мазка углем, бровями, с легким румянцем, смазливый юноша отнюдь не напоминал японца.

— У тебя кепка похожа на японскую, — обронил Коба. И с силой повторил: — Нападай без предупреждения. Не угрожай! Не говори: сделаю. Делай! Бей до смерти. Не оставляй врага живым. И семя его уничтожь! Помолчав, переменял тему: Расскажи, Того, что тут у вас происходит.

— Да не желаю я быть Того.

Коба на это никак не отозвался. Холодно сказал:

— Ну, к делу.

Кауров кратко изложил позицию группы кутаисских большевиков, составившуюся из

молодежи. Крестьянские волнения идут вокруг Кутаиса. Надо их возглавить, добывать оружие, готовить восстание, которое сомкнется с общерусской революцией. Меншевистский комитет, куда входят, главным образом, всякие так называемые почтенные интеллигенты, к решительным действиям не способен. Это не воины революции. Они охочи порассуждать, подискутировать о неотвратимом историческом процессе, но осуществлять этот процесс, вести пробуждающиеся массы — нет, тут они лучше постоят в сторонке. Мы с ними расплевались. Движение уже, по существу, отшвырнуло их.

Коба одобрил линию группы. Сказал, что разрыв надо закрепить организационно. И прежде всего устранить от руководства прежний состав комитета. Кого возьмем в новый комитет? Кауров назвал, охарактеризовал нескольких товарищей.

— Так. Это еще обдумаем, — произнес Коба.

Здесь, в садовой глуши, уже почти стемнело.

— Теперь, Того, иди. Разойдемся по отдельности.

— Но где ты будешь ночевать?

Левая бровь Кобы вскинулась. Это осуждающее скупее движение было достаточно красноречивым.

— Не задавай таких вопросов. На них не отвечают. Если нужно, скажу сам.

— Извини... Я только побеспокоился насчет тебя. Ты уже имеешь где-нибудь приют?

— Пока нет.

— А твои вещи? На вокзале?

— У меня все вещи с собой. Коба жестом указал на сверток, покоившийся на коленях. Не волнуйся, спать буду под крышей.

— А тебе ничего не нужно?

— Ничего. Иди.

В полутьме еще можно было различить худенькую фигурку. Смутно виднелись сложенные на животе руки. Кауров поднялся.

— Ты не болен ли? — спросил он.

— А что?

— Такое впечатление... Вроде бы ты исхудал, ослаб после болезни.

— Ослаб? Хочешь, поборемся?

— Ну, я же был первый силач в классе. И до сих пор упражняюсь с гирями.

— Вот как...

Внезапно Коба вскочил и, подавшись к Каурову спиной, захватил одной правой рукой ствол его шеи. Левая, как успел заметить в тот миг Кауров, не была столь быстрой. Это, однако, не помешало Кобе, быстро опустившись на колени, перекинуть рывком через себя юношу-атлета. Поверженный Кауров тотчас вскочил, сгреб, стиснул Кобу, стал его валить. Да, у того впрямь плохо действовала левая рука, была в локтевом сгибе лишь ограниченно

подвижной. И все же Коба оказался жилистым, вывернулся. Оба запыхались.

— Ладно! — скомандовал по праву старшинства приезжий. В другой раз еще поборемся.

— Что у тебя с рукой? — спросил Кауров.

Коба ответил неохотно:

— Это с детства. Был нарыв. Потом заражение крови. Полагалось бы, по всем правилам, переселиться на тот свет, но почему-то выжил.

— На страх врагам! — сказал Кауров. — А по виду и не подумаешь, какая у тебя силенка.

Коба усмехнулся:

— Теперь знай, как нападать!

Мировая была закреплена рукопожатием. Так совершилось их первое знакомство.

11

Хотелось бы нарисовать и некоторых друзей Каурова, участников большевистской организации в Кутаисе. Среди них были примечательные люди, оставившие след в истории революционной борьбы. Однако сквозное действие, или, говоря иначе, красная нить повествования — ее можно бы назвать суровой ниткой — не позволяет отвлекаться. Воспроизведем поэтому лишь следующий эпизод из кутаисской жизни Каурова и Кобы.

Однажды меж ними возникло небольшое разноречие касательно одного человека, входившего в прежний комитет. Это был пожилой грузин по имени Вахтанг, отец семейства, уже многие лета беспорочно служивший в должности кассира Кутаисского кредитного общества. Он, кстати сказать, и в комитете бессменно нес обязанности казначея. К молодежи, принявшей сторону большевиков, относился дружелюбно, хотя еще надеялся, что междоусобица в лагере социал-демократов закончится добрым согласием. В кредитное общество к Вахтангу всегда было удобно забежать, передать или получить через него записку, перехватить займы рубль-другой. Кауров считал, что Вахтанга надо включить и в новый комитет. Коба воспротивился.

— Место в комитете, — сказал он, — может принадлежать лишь профессиональному революционеру, который отдал себя только одному делу: служить партии.

Они разговаривали, уединившись опять в парке. По-прежнему нечесаный, небритый, Коба отчеканил этот свой тезис и, помолчав, молвил:

— «Тебе одной...»

Так начиналась первая строка известного грузинского любовного стихотворения: «Тебе одной все, что дано мне с высоты Богом». Он ограничился лишь двумя словами. И вновь умолк. Кауров покосился на него. Да, в душе этого низенького ростом, смахивающего на бродягу человека вибрирует, значит, и струна поэзии. Да, не напрасно же он Коба!

А тот уже вернулся к хладнокровному тону:

— Только профессионалы революционеры! В этом необходима строгая граница. Иначе мы не отделим себя от либерально болтающих интеллигентов, сами разрушим конспирацию.

Кауров возразил:

— Но и Вахтанг же, я уверен, будет хранить свято партийную тайну.

Вот тут-то Коба и изрек удививший Алексея, запавший в память афоризм:

— Тайна — это то, что знаешь ты один. Когда знают двое, это уже не вполне тайна.

Выдержав, по своей манере, паузу, Коба далее столь же четко определил:

— А легальный человек в комитете, к тому же еще и примиренец, это все равно что настезь открытая дверь из квартиры на улицу.

Приведя еще несколько доводов в обоснование нещадных организационных требований, Коба убедил в своей правоте юношу большевика.

— Но, знаешь, Коба, я не могу сказать Вахтангу, что мы исключили его из комитета.

— Ох, какой добрый, какой мягкий, — насмешливо произнес Коба. И холодно добавил: — Хорошо, я сам ему скажу. Но изволь присутствовать.

Вахтанга известили, что надобно поговорить. Он предложил встретиться в тихом ресторанчике близ реки Риони.

В назначенное время, когда дневной жар уже свалил, они туда сошлись. Первым, как младшему и полагалось, явился легконогий Алексей, вскоре он вежливым поклоном встретил шагнувшего кассира. В меру полный, толстогубый, знавший толк в грузинской кухне и в грузинских винах, Вахтанг выбрал столик на открытом воздухе под вековой чинарой, распластавшей во все стороны широкие лапчатые листья, посудачил о том о сем с владельцем духана. Кобу пришлось ждать. Вот наконец и он оказался за столиком. Было по-прежнему заросшим его сильное лицо. Заказали кувшин местного вина, сыр, шашлыки. Вахтанг разлил по стаканам темно-красное вино и показал на стремительный Риони, шум которого чуть доносился и сюда. Мощная горная река вспенивалась на торчащих из воды зубцах белых камней.

По праву старшинства Вахтанг провозгласил тост. Стиль был традиционно цветистым.

— У вас, молодых, — говорил он, — такая же душа, как у этого Риони. Рветесь вперед сквозь все теснины, бросаетесь грудью на преграды, пока не прибьетесь к цели. Ничто вашу стремительность не остановит. Выпьем же, друзья, за наш вечно молодой Риони.

Улыбаясь, он поднес стакан к своему большому рту и, причмокивая, вытянул до дна. Вслед и Кауров поставил на скатерть опорожненный стакан. Коба лишь отхлебнул, И вытер рукой жесткие усы.

— Почему же вы, товарищ, проявляете такую половинчатость? — шутливо спросил Вахтанг.

Знать бы ему, что за человек перед ним сидит, не стал бы, наверное, над ним подтрунивать. Коба был крайне чувствителен к насмешке. Янтарная примесь, желтизна в его радужнице мгновенно проступила явственней. Остановившийся гипнотический взор уперся в кассира. Кауров тогда впервые увидел этот взгляд, для которого лишь позже нашел обозначение. Улыбка произвольно сползла с лица Вахтанга. Несколько секунд длилось молчание. Ничего, казалось, не произошло. Ничего, кроме лишь взгляда. Затем глаза Кобы обрели свой прежний туск, не мрачный, скорее веселый.

— Хотя монашеских зарок не давал, — спокойно выговорил он, — вином не увлекаюсь.

Это было истиной. Много раз впоследствии Кауров имел случаи убедиться, сколь Коба воздержан в употреблении питий, какими славна Грузия. Кутаис в особенности имел репутацию города, обильного вином. Белые, голубые, серые каменные домики, лепившиеся по склонам долины Рионн, что составляли разбросанный город, были почти без исключений окружены, по нынешней нашей терминологии, приусадебными виноградниками, дарующими пьянящий сок. Однако Кобу Кауров никогда не видел пьяным.

Отодвинув вино, небритый, да и характером вроде щетинистый, участник застолья продолжал:

— Кроме того, и тост ваш нуждается в критике. Душа человека не река. И тем более не река горная, которая знать ничего не знает, лишь несется вскачь. Душа человека — море. Чего только не вмещает она? Об этом хорошо сказал Казбеги.

Прочитывая наизусть несколько строк, принадлежащих автору «Отцеубийцы», Коба добавил:

— Таковую же мысль можно найти и у Достоевского. Но наш грузинский классик сказал это раньше.

В свойственную Кобе манеру бесстрастия тут ворвалась более живая нотка — он гордился грузинской литературой, любил свою маленькую родину.

— За море так за море! — благодушно согласился Вахтанг.

Духанщик подал дымящиеся, нанизанные крупными кусками на вертел шашлыки. Приправой служили тонко нарезанные сырые луковички, образовавшие ворох колечек. Вахтанг, принявший на себя обязанности тамады, вновь взялся за кувшин, долил и недопитый стакан Кобы. Тот опять лишь прихлебнул. Но ел жадно. Нож и вилка ему не были нужны. Крепкие, немного скошенные внутрь зубы вонзались в горячее мясо молодого барашка, откусывали, быстро пережевывали. Колечкам лука тоже не было пощады, Коба их хватал горстью, во рту хрустело. Он жадно поглощал и поджаристую лепешку чурека — выпеченного по-грузински хлеба. Во время еды не разговаривал.

Наконец на его тарелке остались одни обсосанные косточки да голый, поблескивающий сталью вертелок. Слегка откинувшись, Коба подождал, пока сотрапезники не разделаются с кушаньем.

Потом без обиняков перешел к делу.

— Мы, товарищ Вахтанг, должны поставить вас в известность. Прежний комитет распущен. Вместо него создан другой.

Вахтанг серьезно слушал. Коба со спокойствием и хладнокровием хирурга продолжал:

— Лично против вас мы ничего не имеем. Но из комитета вы исключены.

Кассир был глубоко оскорблен. Его толстые губы задрожали.

— Почему же? За что вы меня так запятнали?

— Повторяю, — сказал Коба, — лично против вас мы ничего не имеем. Будете работать как не запятанный ничем член организации. Но в комитет отныне вы не входите.

— В чем же причина?

— Причина? — переспросил Коба.

Он не спешил, глядя на обидевшегося, ошеломленного кассира.

В ту минуту Каурову заново просилась в глаза ложбинка, раздавившая кончик носа Кобы. И вдруг всплыло вычитанное в какой-то книге: раздвоенный нос — признак жестокости.

Продлив молчание, Коба затем кратко обронил:

— Соображения конспирации.

Вахтанг вскочил.

— Я буду писать в Тифлис. Этого так не оставлю.

Не считая нужным отвечать, Коба сложил на животе руки. Кассир сделал над собой усилие, заставил себя выговорить:

— До свидания.

Кауров мягко откликнулся:

— Извините. До свидания. Мы тут расплатимся, товарищ Вахтанг.

Однако тот, храня достоинство, подозвал духанщика, велел дать счет, уплатил за всех. И тяжелым шагом несправедливо осужденного покинул ресторанчик.

Коба рассмеялся.

— Человека выгнали из комитета и еще заставили платить за угощение.

— Вовсе не заставили.

Но Коба похохатывал, обретя отличное настроение.

— Так, Того, и надо!

12

Не затрагивая пока событий, что происходили в те же сроки, dokonчим рассказец о деле Вахтанга.

Он действительно писал жалобу в Тифлис, в Союзный комитет, где его знали как давнего участника социал-демократических кружков. Послал и личное письмо Папаше, с которым подружился еще в юности.

Папаша приехал в Кутаис, чтобы на месте разобрать этот конфликт.

Члены нового, уже сконституированного комитета — тайная большевистская пятерка — собрались вместе с Папашей в обширной, почти необитаемой квартире полковника Каурова, постоянно жившего в имении.

Небольшая комната Алеши служила местом заседания. Кауров уважительно предложил Папаше занять кресло за письменным столом, но тот уселся на диван.

— Мне тут поудобнее. А хозяйское кресло занимай сам. Я у вас здесь только гость.

Коба на этот раз явился выбритым. Освобожденная от растительности нижняя часть лица была густо изрыта щербатинками оспы. Он скромно выбрал стул в углу. На стульях расположились и другие. Папаша огласил жалобу Вахтанга. Потом повернулся к Кобе, желая послушать объяснение. Но Коба сказал:

— Пусть выскажутся товарищи.

Слово взял Кауров. В свое время, как помнит читатель, он не был уверен; надо ли Вахтанга устранить из комитета? Согласившись, однако, с аргументами Кобы, Алеша теперь убежденно их изложил. Да, мы будем защищать наше решение о Вахтанге. Складывается новая партия пролетариата. Боевая. Централизованная. Дисциплинированная. Подчиняющая себя глубокой конспирации. В комитеты такой партии могут войти лишь профессионалы революционеры, последовательно твердые большевики. И Алексей дословно повторил изречение Кобы:

— Легальный человек в комитете это все равно что открытая настежь дверь из квартиры на улицу.

Папаша склонил голову набок, почесал под бородой шею.

— Сдается мне, — заговорил он, — это схоластика, товарищ Ваню.

Тут, кстати, заметим, что Кауров, не желавший зваться Того, выбрал себе неприятную кличку Ваню, что соответствовало русскому «Ваня», «Иван».

— У тебя, продолжал бородач, получается так: легальный человек — какое-то окаменевшее понятие. Легальный, а ведет нелегальную работу. Почему это должно на него бросать тень? Ты говоришь: примиренец. Это не совсем так. Я с ним беседовал. В совместном деле он, думаю, совсем перейдет на нашу сторону. Зачем его отталкивать?

В нашем повествовании уже мельком сообщалось, что моральный авторитет этого размышляющего сейчас вслух тифлисеца, ушедшего от народничества к революционным марксистам, одного из зачинателей социал-демократических организаций в Грузии, далее безоговорочно заявившего себя большевиком, последователем Ленина, был непререкаем. Все знали: в вопросах, что составляют жизнь партии а другой он не имел, даже семьей не обзавелся, — Папаша отбрасывает личные привязанности или иные непринципиальные соображения, судит по совести.

Он сделал еще несколько замечаний насчет только что выслушанной речи, сказал с улыбкой и об ее молодой пылкости. Затем опять повернулся к рябенькому члену комитета:

— Товарищ Коба, твое мнение?

Кауров ожидал, что его старший товарищ, умевший убедительно отстаивать свою правоту, развернет сейчас ряд доказательств в подкрепление их общей позиции.

Но Коба преспокойно выговорил:

— Я не возражаю. Пусть Вахтанг останется членом комитета.

Кауров был ошеломлен. Слегка румянившиеся его щеки вдруг густо покраснели. В ушах зашумело от прилившей крови. Смятение помешало ему что-либо сказать. Он лишь воззрелся на Кобу, который с еле приметной усмешкой выдержал негодующий взгляд. Дальнейшего обсуждения Кауров почти не слышал, не мог сосредоточиться.

Вскоре стали поодиночке расходиться. Ушел и Папаша. В комнате остались только двое — Алексей и Коба. Наконец-то можно дать себе волю.

— Коба, как это понимать? Ты меня предал!

Низенький оборвыш твердым шагом приблизился к столу. Сказал:

— Я не буду из-за одного человека, какого-то Вахтанга, ссориться с Союзным комитетом.

Под рукой Каурова на столе стояла лампа. Не раздумывая, он ее схватил и швырнул в Кобу.

(...Рассказывая об этом мне спустя пять с половиной десятилетий, Алексей Платонович пояснил:

— Я тогда был наивным, невинным мальчишкой. Воистину простаком революции. Не имел понятия о таких подлых вещах...)

Тусклоглазый гость обладал, однако, быстрой реакцией, сумел увернуться. Разбилось со звоном стекло, по желтым половицам растекся керосин. Коба не утратил спокойствия, иронически прокомментировал:

— Хорошо, что не была зажжена. А то сгорел бы дом.

— Но где же, — выпаливал Кауров, — где твои слова: «открытая дверь на улицу»? Где твои принципы?

— При мне. Мы свое проведем. Изолируем Вахтанга. Не будем с ним считаться.

— Почему же ты не посоветовался со мной?

Ответ был холоден:

— Не нахожу нужным советоваться о том, что признаю правильным.

Словно бы поставив на этом точку, Коба затем спокойно заговорил:

— Библиотека, наверное, у твоего отца богатая. Я посмотрю. Не возражаешь?

— Можешь не спрашивать, — буркнул Кауров.

Коба пошел в кабинет, где располагались книжные шкафы. Переживая обиду, Платоныч остался в своем кабинете. Минул, по меньшей мере, час. Что же там Коба? Кауров заглянул в отцовскую благолепную обитель.

Маленький грузин в заношенном с разлохмаченными обшлагами пиджаке сидел за обширным письменным столом, куда наложил извлеченные с полок книги. Дымя самокруткой, сбрасывая без церемоний пепел на ковер, он склонился над большого формата объемистым томом. Это был один из годовых комплектов «Правительственного вестника» — в доме полковника Каурова хранились переплетенные в кожу подборки этого издания за много-много лет.

— Нехорошо, Того! — бросил через плечо гость. — Владеешь такой вещью и молчишь. Не по-товарищески поступаешь.

— Пожалуйста. Читай, читай.

Коба снова подался к тридцатилетней давности столбцам, содержащим полный текст судебных заседаний по делу студента-революционера Нечаева, родоначальника так называемой нечаевщины, исповедовавшего: цель оправдывает средства.

Еще некоторое время Коба провел за чтением. Потом, не прощаясь, неслышно исчез.

Том «Правительственного вестника» остался на письменном столе. Прибирая за ушедшим, Платоныч полистал прочитанные Кобой страницы. На полях виднелись вдавлины, оттиснутые твердым ногтем, — этак Коба кое-что пометил. Светловолосый юноша недовольно рассматривал эти врезавшиеся в бумагу следы ногтя. Черт возьми, что за дикарская манера портить книгу!

Впоследствии Платоныча потянуло внимательнее рассмотреть строки, отчеркнутые Кобой. Фигурировавший в деле «Катехизис революционера» был особенно уснащен метаами. Одна за другой следовали борозды, вонзившиеся сбочь столбца.

...Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единым исключительным интересом, единой мыслью, единой страстью — революцией.

...Нравственно для него все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что помешает ему.

...Он не революционер, если ему чего-либо жаль в этом мире. Тем хуже для него, если у него есть родственные, дружеские и любовные отношения: он не революционер, если они могут остановить его руку...

А вот ноготь Кобы прошелся уже не на полях, а под строкой. Тут очередной пункт катехизиса начинался так: революционер презирает всякое доктринерство и отказывается от мирской науки, предоставляя ее будущим поколениям.

Далее шли строки: он изучает денно и ночью живую науку — людей, характер, положения...

Под эту-то фразу — во всю ее длину — была всажена резкая черта. Странно. Почему именно это выделил Коба? Да, живая наука, видимо, по сердцу ему, воистину сыну угнетенных, родившемуся среди бедняков. К тому же он, лишь подвернется случай, всюду впитывает, вбирает образование. Ну, а манера пускать в ход свой крепкий ноготь... Э, простим это ему.

13

Коба в Кутаисе жил отшельником. Менял ночевки. Никому не сообщал об очередном своем местопребывании. Мог поспать и на земле под южным небом. Изредка брился, потом вновь зарастал. Иногда где-нибудь ему простирывали рубаху, давали на смену пару белья. Равнодушный к житейским удобствам, он внешне, повадкой как бы олицетворял девиз: «Ничего для себя!»

Созданный в Кутаисе новый комитет объявил о себе листовкой, которую написал Коба. В городе жарче запылали политические страсти. Устраивались дискуссии на нелегальных собраниях. Главным оратором большевиков выступал опять же Коба.

Красноречием он не отличался, рассуждал холодно, без взблесков страсти, но разил оппонентов ясностью, четкостью мысли, силой логики, аргументации. Форма изложения была популярной, простой. Горячности он противопоставлял спокойствие. Это действовало. Его слово с трибуны было уверенным, убедительным, целеустремленным. Самые едкие реплики не выводили Кобу из себя. Полемизируя, он постоянно имел в виду не столько противника, сколько аудиторию. Говорил для нее.

Его речь не сверкала и обширностью познаний, образованностью, однако то, чем он владел, было усвоено им ясно, твердо, до корня. Зная немного, он этим малым искусно оперировал.

В боковом кармане изношенного его пиджака неизменно хранилась книга Ленина «Что делать?». Среди живших в ту пору марксистов Ленин был единственным, чьему авторитету поклонялся Коба. Ни одно выступление Кобы против меньшевиков не обходилось без цитирования строк из этой книги. Он легко находил нужные выдержки, во всеуслышание прочитывал, почти не заглядывая в текст, вероятно, многие страницы были ему известны наизусть. И он раздельно, без спешки оглашал мысли Ленина о тайной, сплоченной организации профессиональных революционеров, все равно, студенты они или рабочие, организации, которая перевернет Россию...

— Такая организация, — твердо заявлял он, — решит все задачи, которые нам ставит история, И вновь цитировал: «...начиная от спасенья чести, престижа и преемственности партии в момент наибольшего «угнетения» и кончая подготовкой, назначением и проведением всенародного вооруженного восстания».

Каурову запомнилось, как на одном собрании кто-то, поднявшись, крикнул докладчику-Кобе, державшему книгу Ленина в руке:

— Слушай, продай мне этот справочник, хорошие деньги дам. Нет там рецепта, как вылечить мою бабушку от изжоги?

Глаза Кобы пожелтели, разрез век расширился, несколько секунд выкрикнувшего пронзал неподвижный взгляд. И лишь затем Коба парировал:

— Насчет твоей бабушки в этой книге ничего не сказано, но о том, как лечить тебя от измены пролетариату, тут говорится.

Выступал Коба и в деревнях на крестьянских сходках. Ему не однажды сопутствовал Кауров. Открытая революционная агитация среди охваченного волнениями грузинского крестьянства была опасным делом — в любой момент могла нагрянуть жандармерия. Озноб риска, азарта пронибал юношески восторженного, смелого Каурова, когда он выезжал на такие митинги. А Коба оставался невозмутимым, ничуть не менялась его спокойная, отдающая холодком повадка. Другие — Кауров сие знал и по собственным переживаниям — преодолевали страх, а этот будто и не знал боязни. Казалось, Коба был лишен некоего чувствительности, в котором у обычных людей заложена и эмоция страха. «Человек, не похожий на человека», — так уже в те времена однажды мимоходом подумал Кауров, взирая на словно бесстрастного Кобу.

На деревенских сходбищах, что скрытно устраивались в лесу или в ущелье, Коба, встав на какое-либо возвышение, призывал к ниспровержению царской власти, разделу помещичьих земель, к оружию, к всероссийскому всенародному восстанию. Он и тут, обращаясь к крестьянам, непременно говорил о партии, о том, что она вносит сознательность, организованность, план в стихию революции. Это он растолковывал очень доступно, очень ясно. Ставил вопросы, вел строго логически к ответам. «Светлая голова», — не раз отмечал в мыслях Кауров, ожидая очереди для выступления.

Верный своей манере, Коба, бывало, вопрошал толпу:

— Так где же в революции место партии? Позади, посередине или впереди?

Слушавшие откликались:

— Впереди!

Все же эти качества Кобы-оратора были недостаточны на митингах. Зачастую его речь не увлекала. Здесь, с глазу на глаз перед массой, требовалось еще и обладание сильным, звучным, гибким голосом, захватывающая, живая, остроумная и красочная форма. Мешала ему и какая-то закрытость души, апелляция лишь к рассудку, к логике. Его речь была

однотонной, однообразной. Обычно вслед за Кобой выступал Кауров. Искренность, горячность, душевная распахнутость беленького, с черными бровями юноши постоянно вознаграждалась оживлением, возгласами, рукоплесканиями.

Коба, конечно, знал за собой скудость ораторского дара, бывал после митингов долго молчалив, его, видимо, мучала неудовлетворенность. Но ни единым словом этого он не высказывал.

Энергично действовавший, неуловимый комитет большевиков в Кутаисе решил не ограничиваться устройством митингов. Требовалась зажигательная литература для крестьянства. Такая, чтобы душа рвалась к борьбе.

Смастерили гектограф. Поручили Кобе написать обращенную к крестьянам прокламацию по аграрному вопросу. Полагалось на заседании комитета выслушать и утвердить эту листовку. Собрались у постели снадаемого туберкулезом, угасавшего товарища.

Коба чеканно прочитал свою рукопись. Все в ней было правильно, большевистская линия излагалась в точных выражениях, но и тут слогу Кобы не хватало жара. Опять сказывалась заторможенность эмоции. Хотелось каких-то задушевных пронзающих строк. Вместе с тем прокламация казалась слишком длинной.

Опиравшийся на подушки больной с разгоревшимися красными пятнами на изможденных щеках произнес:

— Хороший документ. Только суховатый. Еще надо что-то сделать.

Бровь Кобы всползла. Кауров взял со стола исписанную Кобой бумагу, вчитался. Почерк был ясным, каждая буква твердо выведена.

— Вот эту фразу можно, Коба, выкинуть. Будет не так сухо. И смысл не...

Он вдруг увидел будто расширившиеся, ставшие в эту минуту явственно желтыми глаза, что недвижно в него вперились. «Змеиный взгляд», — пронеслось в уме. Да, подвернулось истинное определение. Кауров почувствовал, что у него под этим взглядом отнимается язык. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы, не отводя взор, договорить:

— И смысл не пострадает.

Коба схватил свои листочки, скомкал, сунул в карман. Прозвучали возгласы:

— Что ты?

— Что с тобой?

Коба молчал. Затем все же полыхнул:

— Вы мне будто кусок живого мяса выдрали из тела.

В те времена у него, видимо, еще срывались тормоза, пробивалось затаенное.

Минуту спустя он кратко сказал:

— Хочу сделать заявление. Я уезжаю.

— Как так? Почему?

— У меня заболела мать.

Более никаких объяснений Коба не дал.

Кажется, в тот же день он расстался с Кутаисом, хотя и был сюда послан для работы.

Новая встреча Каурова и Кобы произошла почти через три года. Кутаисская размолвка была словно забыта. Они свиделись дружески и радостно.

14

Впрочем, Кауров в то время, летом 1907-го, был настолько подавлен, несчастен, что и в мимолетной его радости залегало сокрушение.

Примерно год назад он принял участие в дерзкой экспроприации на улице одного небольшого грузинского города. Удалось, открыв пальбу, взять огромную сумму, сто тысяч рублей, что под охраной стражников перевозилась в казначейство.

Несколько большевиков, отважившихся на такое дело, рисковали тут не только жизнью, по и своей революционной честью. Союзный комитет не сразу дал, как выражаемся мы ныне, зеленый свет задуманному эксу.

Инициаторы подготовляемого нападения — Кауров в их числе — нетерпеливо убеждали:

— Революция нуждается в оружии. Мы малосильны без оружия. Возьмем деньги и купим оружие за границей. Раздадим тысячи винтовок.

Алексей и его сотоварищи, нацелившиеся захватить немалую наличность, знали: если поймают, надо выдать себя за уголовника-грабителя, отрицая какую-либо свою причастность к партии. Изболелось сердце, пока Кауров внутренне принял это условие, укрепился в нем. Что же, если придет для него роковой час, он сумеет ради партии отречься от нее! Так оборачивалось, испытывалось разительное свойство, которое позже в небывалых дотоле масштабах стало психологической чертой, характером и тех, кто шел вслед: поклонение партии.

Можно было бы написать отдельную повесть об этой четко осуществленной экспроприации и о дальнейших, связанных с ней перипетиях. Каждый исполнял свою задачу, свою часть операции. Забрать уйму денег среди дня. Донести их, пока товарищи ведут стрельбу, вся и всех на несколько минут парализовавшую, к заряженному рысаками фаэтону за углом. Примчаться к неприметному дому на окраине. Сложить там добычу в чемодан, тотчас же подхваченный рукой сподвижника, который спокойнейшим шагом выходит с багажом на улицу, переправляет деньги еще в другую тайную квартиру. Сесть с чемоданом на поезд — это было поручено Каурову, — сесть, когда каждого пассажира щупают взгляды агентов жандармского и сысского отделения. Доехать в Петербург, опять-таки ежеминутно ожидая, не вонзится ли в тебя глаз сыщика. Предаться в вагоне вместе со спутником-другом карточной азартной игре в компании двух столичных блестящих офицеров-кавалергардов, игре, для которой служил столот тот же заветный чемодан. Продуться, лишиться тридцати рублей, ничего не смысля в картах. Хорошо еще, что умелец друг отыграл уплывшие деньжата, а то пришлось бы, располагая сотней тысяч, подголаживать. («Воротничка себе не купили на эти сто тысяч», рассказывал впоследствии Кауров). Благополучное прибытие в Питер. Свидание с элегантно, высокого ранга инженером, российским представителем фирмы «Сименс-Шуккерт», большевиком Леонидом Красиным. Ворочавший по доверенности фирмы миллионными вложениями, свой человек в банках, он почти небрежно, безбоязненно внес в банк сто тысяч наличными. Никому и не взбрело проверить номера кредиток, что сдал

известнейший, великолепный, с пахнувшей духами небольшой бородкой инженер.

И вот Кауров уже за границей. Деньги — в его распоряжении. Переговоры с поставщиками оружия. Заказ наконец принят. Изготовлены, оплачены легкие, новейшего образца винтовки и не менее многозарядные, точного боя пистолеты. Разработан маршрут доставки: сначала железной дорогой в Грецию, там перегрузка на зафрахтованное судно, которое ночью подойдет к берегу Грузии, где ящики с оружием будут забраны на лодки.

Надо успеть нелегально вернуться в Россию, быстро добраться к условленному месту на Черноморском побережье, там уже подготовлена тайная разгрузка. Невинная, на посторонний взгляд, телеграмма из Греции означает, что пароход отчалил. Кауров ночью под режущим ветром, под косым дождем меряет шагами пустынный, устанный крупной галькой берег, вглядывается в темь. Непогода все разыгрывается, низвергаются, шлепаются с пушечным гулом пенные волны. Он готов запеть: «Будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней». Пусть свистит ветер, ящики с аккуратно уложенным, поблескивающим заводской смазкой оружием приближаются сюда.

Однако пароход в ту ночь не подошел. Кауров, одолеваемый тревогой, напрасно прождал и следующую ночь. И еще одну — судно опять не появилось. Днем Каурову принесли телеграмму. В ней уже без всякого шифра говорилось: пароход потерпел крушение, затонул вместе с грузом.

Кауров не поверил. Но весть подтвердилась. Буря действительно разломала пополам ветхую посудину, погибли и люди, лишь немногие спаслись. Еще никогда он не переживал такого горя, отчаяния. Окаменел, хотел плакать и не мог. Отдано столько энергии, мысли, отваги, удалось совершить невероятное... И злосчастная случайность, слепая стихия все зачеркнула, погубила.

Шок оказался таким сильным, что ему было уже невозможно жить в родном краю, здесь с почти маниакальной неотвязностью его преследовали думы о случившемся. По совету друзей, по заданию Союзного комитета, где знали, какая подавленность скрутила Каурова, он перебрался в Баку.

— Поваришься там в пролетарском котле, будет полезно, сказали ему.

Летом 1907 года он в Баку опять повстречал Кобу.

15

Это произошло так.

На вокзале в районе нефтепромысла Алексей покинул поезд. Дул резкий неприятный норд, несущий тьму колючего мельчайшего песка. Песчинки забирались под воротник, скрипели на зубах, глаза стали слезиться. Было мглисто на душе, мглисто и вокруг.

Плотней напялив кепку — все ту же, о которой однажды Коба выразился: похожа на японскую, — опустив голову, Кауров брел на указанную ему явку. Неужели это он, тот самый удалец, выбравший себе кличку Ваню, который недавно на шквалистом ветру под пушечное бухание ниспадавших на каменистый берег волн певал: «Будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней»? Ему уже не верилось, что он когда-нибудь снова запоет.

Явка находилась неподалеку от вокзала — газетный киоск, где восседал благообразный, с огромной черной, пронизанной витками серебра бородою продавец. Он, выслушав пароль,

адресовал новоприбывшего: такой-то промысел, такой-то дом, спросить там фельдшера.

Кауров добрался туда к вечеру. В пыльной пелене проступали среди жилья маслянисто-черные нефтяные вышки, попадались пустыри, потом опять тянулись приземистые, сложенные из плитняка рабочие казармы, ряды которых составляли улицу. Кое-где угнездились и глинобитные, в два-три окна лачуги без садов, без изгородей.

Солнце уже было подернуто шафраном, когда Кауров разыскал квартиру фельдшера, постучал в дверь, Ему отворили, чей-то голос с явственно грузинским акцентом произнес:

— Входите.

Кто-то стоял в темноватом коридоре.

— Ваню! Не узнаешь?

Рука встречавшего дружески сжала кисть Каурова, потянула в комнату.

— Как не узнать тебя, Серго! — молвил Кауров.

Да, его руку еще стискивал, не отпускал Серго Орджоникидзе, с которым Алексей несколько раз виделся, сблизился в Тифлисе. Они были почти однолетками: Каурову, вышибленному из последнего класса гимназисту, исполнилось в этот год двадцать; Серго, обладателю фельдшерского звания, — двадцать один.

Сейчас они друг в друга всматривались. Бросим и мы внимательный взгляд на Серго: ему еще доведется занять свое место в нашем повествовании. Темные усы над крупными его губами тогда были совсем молодыми, коротенькими, бархатисто мягкими. О природной мягкости свидетельствовала и выемка на его подбородке. Горбатый нос не набрал еще мясистой. Черноватые (но не жгуче-черные) волосы слегка вились, буйность шевелюры, для Серго столь характерная, была в этот промежуток времени укрощена парикмахерскими ножницами. Самой, однако, разительной его чертой и тогда и позже оставались на удивление большие глаза под правильными четкими дугами бровей, — глаза, мгновенно выявлявшие внутреннюю жизнь, будь то презрение или ласка, гнев или доверчивость, дума, восторг, сострадание. Пожалуй, именно глаза делали его красивым.

Теперь он с сочувствием взирал на осунувшегося, даже не бледного, а как-то посеревшего с лица Каурова.

— Слышал, слышал о несчастье, — произнес Серго.

Повесив на гвоздь кепку пришедшего, он бережно, сочувственно погладил его белесые тонкие волосы. И продолжал:

— Сам чуть не заплакал, когда мне об этом рассказали.

— А мне и сейчас хочется плакать.

— Садись, Ваню. Прости, я похозяйничаю. Отметим, как подобает, твой приезд.

Плотно сбитый, невысокий, Серго зашагал к двери, что, видимо, вела на кухню. Но дверь вдруг как бы сама собою отворилась. Из нее спокойно ступил в комнату Коба.

Здесь, в Баку, его внешность изрядно переменилась. Он уже не смахивал на бродячего торговца фруктами, порой ночующего на траве, пренебрегавшего бритьем и стрижкой, свыкшегося с неряшливой одеждой, каким запомнился по Кутаису. Волосы уже не торчали лохмами. Однако и расчесанные, они упрямо дыбились. Толщина волоса была особенно

заметной в подстриженной черной щетине усов. Худощавые щеки, тяжеловатый, словно литой, подбородок были бриты. Впрочем, в первый миг почудилось, что Коба выбрит нечисто. Его оспины, густо разбросанные в нижней части смуглого сильного лица, имели одно редкостное отличие, которое не сразу схватывал взгляд: в каждой, в самой глубине, отложилась своего рода веснушка, то есть темно-рыжее пигментное пятно. Из-за этого-то его свежесбрита кожа казалась нечистой, словно бы бритва оставила какие-то пучки. Пиджак теперь отнюдь не был мятым. Темная, застегнутая до верха рубашка тоже выглядела глаженной. Утюг, видимо, прошелся и по брюкам. Вместо грубых сыромятных постолов Коба носил ныне ботинки, хоть и запыленные, но не заляпанные, знавшие, несомненно, со щеткой. Казалось, он чьими-то руками был ухожен.

— Того, здравствуй! — проговорил он.

Поразительное прежнее упорство проглянуло в этом словечке «Того».

— Здравствуй. Коба! — грустно ответил Кауров.

Подойдя, Коба обеими руками обнял, прижал к себе Каурова. Такого рода нежность столь не вязалась с характером Кобы, была столь неожиданной, что у Каурова навернулись слезы.

Откинувшись, сняв руки с мускулистых плеч Каурова, Коба сказал:

— Стою в кухне. Слушаю. Узнал тебя по голосу.

— А тебе известно про?..

Можно было не договаривать. Коба кивнул. Кауров и ему признался:

— Мне просто хочется плакать.

— Того, подумай. Ты же молодой. У тебя впереди еще вся жизнь.

— Не могу с собою справиться.

— Справишься. Разве это такая уж страшная потеря? Вспомни, какими жертвами отмечена вся революционная борьба. Революция без утрат, без крови, без страданий — это, Того, не революция. У Радищева отняли, сожгли его книгу. Подумай, как было ему больно. А какие люди погибали!

Меряя комнату шагами, Коба еще и еще приводил примеры из истории русского революционного движения.

— А провокации? — вопрошал он. — А измены, переметывания? Мало в этом горького? Но такова борьба. Она и не может стать иной.

Коба, как и прежде, говорил краткими фразами, не «растекался». Доводы были логически несокрушимы, однако кроме логики действовала, источала некий ток и его убежденность, неколебимость.

— Как же ты станешь крепким, ежели не под ударами? — продолжал Коба. Революцию душат, но она все-таки живет. Пойми, живет в каждом из нас.

Кауров вдруг припомнил свое давнее определение: «Человек, не похожий на человека». Нет, Коба сейчас говорил с ним человечно.

Серго тем временем расставлял на столе посуду, наведывался в кухню, возвращался. Кауров в какую-то минуту уловил его влюбленный взгляд, брошенный на Кобу. Что же, такой Коба, не

схожий в чем-то с прежним, и впрямь мог вызвать любовь. На душе, пожалуй, немного полегчало.

Коба вновь дружески положил руку на плечо Каурова.

— Хоть ты и впал в мировую скорбь, а силушку, вижу, сохранил. Поборемся?

— Нет, неохота.

— Ничего. Расшевелишься.

И опять, как некогда в кутаисском парке, низенький грузин быстро повернулся, обхватил сцепленными в замок кистями шею Каурова, упал мгновенно на колени и в падении кинул его кувырком на пол. Кауров тотчас поднялся, потер ушибленную ногу. Коба разразился коротким смешком:

— Больно? Терпи. Без боли не излечиваем.

Кауров глядел из-под густых бровей. Закипало желание побороться. Примерившись, он поясным захватом стиснул Кобу. Тот вырвался. Алексей опять взял его в тиски. И снова, как когда-то, чувствовалась некоторая немощность левой руки Кобы, Алексей ломал его, подламывал. Коба все-таки держался. Серго, выставив перед собой ладони, оберегал накрытый стол и не то восхищенно, не то опасно причмокивал. Кауров жал и жал, возил по всей комнате несдававшегося жилистого Кобу. Наконец, будто став на секунду скользким, Коба извернулся, выскочил, как обмылочек, из рук. Этим схватка завершилась.

Втроем они поужинали. Коба обронил несколько замечаний о политической обстановке в Баку, о боях с меньшевиками.

— Освоишься. Все увидишь, Того, сам.

Условились, что Кауров станет пропагандистом, поведет тот или иной из рабочих кружков района.

Серго оставил у себя ночевать приехавшего, выложил ему последние нелегальные издания, в том числе и два номера газеты «Бакинский пролетарий».

— Сами выпустили! — объявил он. И добавил, указывая на Кобу. Вот перед тобой и инициатор, и автор, и редактор. Един в трех лицах.

— Болтаешь! — оборвал Коба.

Грубость этого замечания не заставила, однако, Серго изменить тон. Улыбаясь, он воскликнул:

— Коба Иваныч, не сердись! — И повторил: — Един в трех лицах!

Теперь Коба промолчал. Вскоре он и Серго ушли.

16

Кауров умылся, прилег, взял «Бакинский пролетарий».

В обоих номерах видное место занимала печатавшаяся с пометкой «продолжение следует»

статья «Лондонский съезд Российской социал-демократической рабочей партии (записки делегата)». Автор подписал ее так: Коба Иванович.

Глаза Алексея пробежали текст. Постепенно он стал читать внимательней. Узнавал свойственную Кобе ясность. Самые сложные вопросы тот излагал доходчиво, коротко, словно бы вышелушивая, обнажая суть. Вместе с тем казалось, что он проделывает это не каким-либо тонким инструментом, а простым острым топором, который, как у иных искусников плотничьего ремесла, отлично ему служит. Особенно четко была вскрыта склонность меньшевиков поставить на партии крест, провозгласить: долой партию!

Автор отмечал: «Эти лозунги открыто не выставлялись, но они сквозили в их речах».

Такая определенность, твердость привлекала. Кауров опять чувствовал облегчение. Да, Коба один из тех, на ком зиждется партия. Люди такого склада — твердейшая ее опора. Стараясь не отвлекаться на внутреннюю боль, Кауров опять погрузился в статью. Внезапно его покорило. Он еще раз перечитал абзац: «Не менее интересен состав съезда с точки зрения национальностей. Статистика показала, что большинство меньшевистской фракции составляют евреи (не считая, конечно, бундовцев), далее идут грузины, потом русские. Зато громадное большинство большевистской фракции составляют русские, далее идут евреи (не считая, конечно, поляков и латышей), затем грузины и т. д. По этому поводу кто-то из большевиков заметил шутя (кажется, тов. Алексинский), что меньшевики еврейская фракция, большевики — истинно русская, стало быть, не мешало бы нам, большевикам, устроить в партии погром».

Фу, как скверно это пахнет. Полно, Коба ли это написал? А кто же? Вот подпись: Коба Иванович. Но, может быть, в следующей фразе сам он, этот Иванович, высмеет сказанное? Нет, далее следует: «А такой состав фракции нетрудно объяснить: очагами большевизма являются главным образом крупно-промышленные районы, районы чисто русские, за исключением Польши, тогда как меньшевистские районы, районы мелкого производства, являются в то же время районами евреев, грузин и т. д.».

Ой, Коба, Коба! Хорошо, хорошо, и вдруг вылезет из него что-то. Ну, и отмочил: большевики фракция истинно русская, стало быть, нам, большевикам, не мешало бы устроить в партии погром. Правда, имеется словцо «шутя». Но шутка очень дурного тона.

Неужели никто Кобе об этом не сказал, не остановил? Но, пожалуй, ему такого и не скажешь. Вспомнилось, как Коба скомкал свою рукопись, когда в Кутаисе они, сотоварищи по комитету, сочли суховатыми или излишними некоторые фразы.

Ныне и он, Алексей Кауров, тоже вряд ли найдет мужество начистоту поговорить с Кобой, Просто не вмоготу сызнова узреть недвижно установленные, парализующие, неожиданно змеиные, со вдруг проступившим янтарем его глаза.

Но умолчать не пришлось.

...Несколько дней спустя Кауров возвращался из городской библиотеки в рабочий поселок, где обосновался на постоянное — кто знает, короткое, долгое ли — жительство. Для первой своей лекции-беседы, ему, пропагандисту, на неделе предстоявшей, он облюбовал тему: «Капитализм и будущее общества».

Вечер был безветренным. Сбоку опускалось к горизонту, к невидимому отсюда морю уже не слепящее солнце. По железнодорожной колее, пролежавшей возле казарм, шипя и лязгая, шел поезд. Запыленные темные цистерны, меченные черно-маслянистыми потеками, катились и катились, заграждая песчаную немощеную дорогу. Кауров остановился, пережидая. Тут же выстроился недлинный обоз установленных плашмя на колеса красных бочек — в них доставляли питьевую воду в поселок.

Наконец протащился хвостовой вагон. На противоположной стороне двухпутного рельсового полотна прямо перед собой Кауров увидел Кобу, двинулся навстречу. Прозвучало неизменное восклицание Кобы:

— Того, здорово!

— Здравствуй.

— Ну, как самочувствие? Одолел тут, среди пролетариата, свою немочь?

— Кажется, одолеваю.

— Давай Бог. Никуда не спешишь? Проводи меня немного.

Зашагали рядом. Короткая, наверное, лишь однодневная щетина черноватым налетом охватила лицо Кобы. Непокорный зачес, нависший жесткой волною надо лбом, ничем не был прикрыт. Вместо пиджака Коба в этот раз надел грубую серую фуфайку, ворот которой наглухо обтягивал шею. Теперь он был похож на мастерового. Лишенные блеска, подернутые матовостью глаза посматривали весело.

Без каких-либо окольных слов Коба спросил:

— Статью мою читал?

— Читал.

— Как твое мнение? Говори откровенно.

Кауров не раздумывал. Что же, откровенно так откровенно. Он похвалил статью. Особенно отметил ее режущую ясность.

— Ты, Коба, умеешь вытащить ядрышко из словесности меньшевиков. И подаешь, как на ладони. Но в одном месте тебя понесло черт-те куда.

— В каком?

— Там, где ты пишешь, что меньшевики представляют собой еврейское направление, а большевики истинно русское. Да еще обещаешь по такому случаю погром.

Коба усмехнулся. Спокойствие не покинуло его.

— Марксизм, как известно, шутить не запрещает...

— Если это шутка, то...

— И шутка и не шутка.

Коба произнес это медлительно. Фразы будто обладали тяжестью. Кауров опять узнавал тяжелое его упорство.

— Но ни в шутку, ни всерьез нельзя пользоваться такими выражениями: истинно русская фракция. Или еще вот: погром.

— А разгром можно?

— Конечно.

— Разгром, погром — различие непринципиальное. Меньшевиков все же громить будем?

— Будем.

— Это, Того, главное. Коба посмотрел на твердые тупые носы своих ботинок, негромко отчеканил: Бить прямо в морду. А насчет шуток... Когда-нибудь в них разберемся. Во всяком случае, тебе спасибо.

— Вот еще... За что?

— Не вилял. Сказал в открытую.

— А помнишь, Коба, в Кутаисе...

— Был молод. Не владел собой. С тех пор стал повзрослей.

— Да, ты изменился. Позволь еще тебе сказать. Ты и о грузинах как-то странно пишешь. Будто сам ты не грузин.

— Поймал! Коба рассмеялся. И грузин и не грузин.

— Как так? Не пойму.

— Грузин по крови, а по духу... По духу уже русский. Живем в такое время. Оно перемесило.

— Помолчав, Коба заключил: «Иди обратно. Меня дальше не провожай».

17

Однажды, уже поздней осенью, за полдень к Каурову, проживавшему в семье рабочего нефтепромыслов, пришел Серго...

— Ай, как хорошо, что я тебя застал.

— Снимай пальто. Садись.

— Не могу. Прости. У меня нет времени. Забежал к тебе по делу.

Откуда-то из-под пальто он вынул отпечатанную на тонкой бумаге заграничную большевистскую газету «Пролетарий». И объяснил, что этот номер в Баку только что получен.

— Надо, Ваню, отнести эту газету Кобе. Он завтра выступает. Готовится. Сходи к нему, отдай. Ты прочтешь потом. Не обижаешься?

— Какая тут обида? Говори, куда нести.

Серго дал адрес Кобы, объяснил путь.

— Спросишь, где живет портниха. Это его жена.

— Как? Разве он женат?

— А ты не знал? Женат. И к тому же эта портниха нам с тобой знакома.

— Знакома? Кто же она?

— Увидишь.

Кауров отправился по адресу. Коба под фамилией Нижерадзе проживал в одном из рабочих поселков, которые раскинулись вокруг Баку, снимал комнату в невзрачном глинобитном домике. Алексей нашел этот дом, постучался.

Ему послышалось какое-то приглушенное движение в доме, и лишь минуту спустя дверь отворилась. Гостя встретила поклоном миниатюрная молодая женщина, по облику грузинка. Поклон был по-восточному длительным. Блестели витки ее черных густых волос. Да, этот тонкий профиль, этот произвольно изящный выгиб шеи казались Каурову смутно знакомыми. Однако в то мгновение в памяти не прояснило.

Он уже смотрел на Кобу. Тот обедал, сидя за столом вблизи кухонной плиты. Комната в себя вмещала и столовую, и кухню, и спальню. Каурова поразил контраст между неказистой внешностью обшарпанного домика, который скорее следовало бы назвать хибарой, и ухоженностью, чистотой внутри ее. Занавески на окнах сияли белизной. Кружевная накидка украшала взбитые подушки на деревянной кровати. По глинобитному, без соринки, полу, пролегла ковровая дорожка. Стол, на котором перед Кобой стояла тарелка вкусно пахнущего чахохбили мелко изрезанного куриного мяса, был застелен чистенькой, спускающейся к полу скатертью. О, тут еще и детская! В углу находилась колыбель, где под стеганым розовым одеялом чуть слышно посапывал, спал младенец, нареченный, как потом узнал Кауров, Яшей. И мастерская портнихи! Вон у окна притулилась швейная машинка с не вынутой из-под иглы, свисающей тканью. Да еще и полочка с книгами.

— А, Того! Коба привстал, оказывая уважение гостю. Проходи, садись, пообедаешь со мной.

— Я только на минуту. Принес тебе газету от Серго.

Коба взял протянутые ему, сложенные страницы, взглянул на заголовок, бережно положил на скатерть.

— Это кстати. Спасибо. Но без обеда я тебя не отпущу. Что? Со мной хлеб-соль не водишь?

Он вопрошал будто бы грозно, но под усами проглядывала улыбка. И глаза приветливо смеялись. Впервые Коба предстал Каурову такую гранью — радушным хозяином.

— Като, обратился он к жене, подай ему обед.

Коба не считал нужным познакомить гостя и жену, повеление было грубоватым, но она, кинув преданный взгляд на мужа, мигом в своей легкой обуви без каблуков пронеслась к плите. И тут Каурову вдруг вспомнилось: Тифлис, мастерская дамских мод, проворная несловоохотливая девочка. Конечно же, это она!

— Като! — воскликнул он.

Юная мать снова безмолвно поклонилась. Блеснувшие глаза, как он уловил, были счастливыми. Впрочем, ресницы тотчас пригасили этот блеск.

Когда-то, года два назад, он, товарищ Ваню, наезжая в Тифлис, побывал в доме молодого большевика Александра Сванидзе, за которым утвердилось партийная кличка Алеша. Каурова затащил туда Орджоникидзе. Собственно говоря, этот кров был женским царством. Старшая сестра, Сашико, после смерти родителей осталась главой семейства. Наследственный дом, к которому примыкали заросли старого сада, уместил в себе по решению Сашико швейное заведение, или, употребляя нынешний термин, ателье. Там вместе с иен трудились две ее младшие сестры, Маро и Като.

Сашико откинула мечты о замужестве, отдала себя родным. Жгучая брюнетка, она являла собой мужественный тип. Коренастая. Горбатый нос. Темный пушок над тонким ртом. Гордая

посадка головы.

Семья Сванидзе принадлежала к мелкодворянскому сословию, к азнаури, что значит «свободный». Рано полысевший Александр, он же Алеша, был увлечен социальными науками, много читал, писал. Такой же, как и Сашико, приземистый, осанистый, с величественной походкой, рыжеусый, он ни в малой мере не обладал житейской практичностью, сметкой. Говорил солидно, с расстановкой. Владел иностранными языками, некоторое время учился в одном из немецких университетов. Сашико и ему заменила мать.

В доме было несколько выходов и потаенный лаз из погреба. Эта мастерская, пользовавшаяся отличной репутацией среди тифлиских модниц, служила убежищем для скрывающихся подпольщиков. Там в какую-то пору, как позже узнал Кауров, приютился Коба.

Като тогда была девочкой лет пятнадцати-шестнадцати. Однако возраст отроческой угловатости для нее уже миновал. Ладно сложенная, миниатюрная, гибкая, легкая на ногу, она поневоле привлекала взгляд. Краски кругленького чернобрового лица смягчались матовостью. Изогнутый рисунок губ усиливал впечатление женственности. Волосы вились. Нешумливость сочеталась в ней с веселым нравом. Каурову запал в память звонкий ее смех.

Но однажды Кауров заметил на ее шее тоненькую серебряную цепочку. И, по своей прямоте, спросил:

— Като, что это у вас?

Она без жеманства потянула цепь, достала маленький крестик, видимо, теплый, хранивший теплоту груди. И опять опустила. И твердо посмотрела на Каурова. Он удивился. Эта девочка, значит, не свой брат. Растет в революционной семье, а верит в Бога. Какие-то нити незримого общения порвались — такова была нашего Вано прямолинейность.

И еще ему запечатлелось. Подошла Сашико, наверное, все подмечавшая, и, разумея Като, уже куда-то ускользнувшую, сказала:

— Настоящая грузинка. Ищет самоотречения. Самоотверженная.

Теперь, два года спустя, Кауров снова встретил маленькую Като. Встретил уже спутницей неколебимого Кобы, матерью его ребенка.

18

Гость и хозяин обедали, а Като, скромно отойдя в сторону, готовая услужить, наблюдала. Одна ее коса была уложена вокруг головы, другая, как принято в Грузии, свисала, перекинута через плечо.

Вдруг одно ничтожнейшее обстоятельство мимолетно озадачило Каурова. Ногой он случайно задел что-то под столом. Там от неловкого этого движения как бы звякнула тарелка. Или, может быть, блюдце. Неужели тут еще обитает кошка? Эти мысли, впрочем, пробежали, не задерживаясь, не оставляя следа.

В какую-то минуту младенец, не просыпаясь, заворочался, зачмокал. Коба крикнул:

— Эй, угомони!

Като мигом кинулась к сыну, склонилась над ним, покачала люльку. Теперь на юной нежной

шее Кауров не увидел цепочки наверное, с Богом, «иже еси на небеси», уже было покончено.

Вскоре малец опять ровно задышал. Като вернулась на прежнее место, снова стояла, обратив на мужа сияющий, исполненный преданности взгляд. Казалось, она со счастьем ждала новых повелений.

Поглощая чахохбили, Коба не забывал потчевать гостя:

— Като, положи ему еще!

— Не надо. Это мне, ей-ей, достаточно.

— Что, разве не вкусно?

— Вкусно, У твоей Като золотые руки.

— Ежели хвалишь, так хвали делом, не словами. Ешь.

Гость не обидел хозяйку, покончил и с добавкой. Коба ел не спеша, — той жадности, с которой он когда-то в кутаисском духане поглощал куски мяса, теперь в нем не замечалось. Отодвинув тарелку, опустошенную отнюдь не дочиста, он достал из кармана недорогой портсигар, раскрыл:

— Того, закуривай! Это у меня своей набивки папиросы.

Коба курил еще в свою бытность в Кутаисе. Ныне жена приготавливала ему папиросы дома. «Своей набивки» — это, разумеется, значило: набивала Като.

Кауров проговорил:

— Здесь же ребенок. Не надо тут дымить.

— Вытерпит. Приучен. Потом проветрим.

— Нет, мне сейчас курить не хочется.

— Скажи пожалуйста, какой благовоспитанный! Като, спички!

Она мгновенно подала спички и опять скромно отдалилась, блюдя семейную обрядность патриархального Востока.

Коба сидел, откинувшись на спинку стула, выпуская дымок изо рта и из ноздрей. Глаза были полузакрыты нижними веками. Не верхними, а именно нижними, как это свойственно иным кавказцам. Сегодняшнее отличное расположение духа не покидало его. Он будто жмурился на солнышке. Ему была уготована непрерывная жестокая борьба, за ним охотились, впереди маячили неминуемые новые скитания, тюрьма, но здесь, в глинобитном домишке, нашлась для него некая затишь, которую устроила эта маленькая бессловесная счастливая в самоотречении женщина.

Кауров опять ненароком тронул ногой скрытую под столон какую-то посудинку. Черт побери, что же это такое? Детский горшок, что ли?

— Хочу посмотреть вашего дитятку. Можно?

— А я посмотрю газету. Можно? — весело ответил Коба.

Малыш мирно спал. Черные волосики отливали, как и у Кобы, рыжиной. К зыбке подошла и Като. Гость, присев на корточки, бережно поцеловал крохотную теплую ручонку Яши.

Поднимаясь, Кауров непредумышленно, боковым зрением, вдруг увидел под столом не скрытую отсюда скатертью тарелку с чахохбили. Поперек тарелки лежала вилка. Ом тотчас понял: его стук застиг Като за совместным с Кобой обедом. Иона вскочила, спрятала второпях свою тарелку, дабы никто посторонний не подумал, что она позволила себе нарушить кавказские предрассудки.

Возвращаясь от Кобы, Кауров размышлял о картине быта, которую только что увидел. Несомненно, Като пойдет, всюду пойдет за своим избранником. Будет шить, выколачивать иглой копейку, будет носить ему в тюрьму передачу, последует за ним в ссылку, на край света, куда угодно.

...Ей, однако, выпала иная доля. Като в том же 1907 году умерла. Она пробиралась вместе с Кобой, вместе с ребенком в Тифлис, выпила в дороге сырой воды, заболела брюшным тифом, который ее, восемнадцатилетнюю, скосил.

Коба похоронил жену в Тифлисе. Сохранилась фотография: он стоит со свечой у ее открытого гроба.

Много времени спустя он заговорил о ней с Кауровым. Это случилось уже в Петербурге. К этим их петербургским встречам и ведет наша история.

19

Долгая оседлость — не удел революционеров. Кауров, став студентом в Льеже, со второго курса возвратился в неодолимо влекущую Россию.

В Петербурге он с охотой продолжал отбывать свою студенческую вольную повинность на физико-математическом факультете университета. И состоял членом немногочисленной, себя почти не проявлявшей в ожидании лучших времен университетской социал-демократической группы.

Однажды мартовским днем 1912 года в послеобеденный час, что выдался редкостно ясным, Кауров в студенческой тужурке, в форменной, с синим околышем фуражке шел по Невскому. Петербуржцы разных возрастов, чинов и состояний, обитавшие в центральной части города, выманенные из домов солнцем, заполнили любимый проспект.

Не замечая, как порой в него стрельнет та или другая пара женских глаз, о чем-то размышляя, серьезный юноша — впрочем, пожалуй, уже и не юноша: ему исполнилось двадцать четыре — шагал по привычке быстро. И вдруг донеслось:

— Того!

Может быть, ослышался? Его же никто в Петербурге так не называл. Он усмехнулся этой невесте откуда взявшейся слуховой галлюцинации. Но вот снова:

— Того!

Кауров приостановился, обернулся. Сзади, шагах в десяти, тоже остановился какой-то оборвыш — низенький, всклокоченный, с охватившей лицо черной растительностью. Публика Невского обтекала его, а он смотрит на Каурова и улыбается. Улыбка дружеская, радостная. Прорези глаз сужены приподнявшимися нижними веками. Конечно, это Коба! Поверх черной блузы был надет вытертый лоснящийся пиджак. А брюки! А ботинки! Этот его вид был точно отрицанием приличий Невского проспекта, вызывающе дисгармоничным. Кауров к нему

кинулся:

— Коба, здравствуй. Откуда ты? Как сюда попал?

Коба не без юмора ответил:

— Немного надоело отдыхать в благодатной Вологде. Срок еще не вышел, но.

— Как же ты решился прийти на Невский?

— Ни одна явка не годится! Такой-то выбыл, такой-то и вовсе не проживал. В третьем месте около подъезда слоняется несомненный шпик. Понимаешь, ни одна. Ну, и шляюсь, поглядываю, не навернется ли знакомый? И — вижу тебя!

— Пойдем, пойдем, Коба, отсюда.

Они зашагали. Миновали Аничков мост. Там, возле отлитых в бронзе, которая чугунно почернела, рвущих удила коней, обуздываемых укротителями, стоял на посту городской. Коба придержал Каурова, полюбовался изваяниями.

— Сильная штука! — сказал он.

— Идем. Это место опасное. И к тому же несчастливое. Вот в этом доме на верхнем этаже был взят Желябов.

Коба опять умерил шаг, оглядел дом, в котором, как и во времена Желябова, помещались мебелированные комнаты, или, по петербургскому выражению, мебелирашки, вытащил из кармана пачку дешевых папирос.

— Того, закурим.

— Только не здесь, а то...

— Почему не здесь? Опасность, как известно, стихия войны. Мы в этом море плаваем.

Подчиняясь. Кауров тоже сунул в зубы папиросу. «Черт побери, подумал он, глядя на Кобу. Хладнокровен, как рыба». Но, будто опровергая эту мысль, Коба неожиданно продекламировал:

— «Мы живы, кипит наша алая кровь огнем неистраченных сил!» Знаешь, это чье?

— Кажется, Уитмен...

— Я должен признать тебя истинным интеллигентом.

На ходу закурили. Кауров сказал:

— Твой интеллигент знает также и то, что эти слова были приведены в одной статье «Звезды».

«Звездой», как известно, звалась легальная газета большевиков, выходившая тогда два-три раза в неделю в Петербурге. Коба не реагировал, лицо оставалось туповатым.

— Да и новая листовка нашего Цека, продолжал Кауров, — проникнута этим же мотивом.

Ему вспомнился весь текст этой прокламации, в которой среди ровного шрифта вдруг попадались букочки помельче, тиснутой на грубоватой бумаге, то есть явно не за границей, а в некой российской подпольной типографии. Листовка была озаглавлена: «За Партию».

Осененный внезапной догадкой, Кауров воскликнул:

— Не ты ли ее составлял?

— Опять тебя приходится учить. Такие вопросы не задают и на них не отвечают.

— Не отвечай. Я понял.

— Ну, понял, и баста! После паузы Коба спросил: Какое же у тебя мнение об этой листовке? Режь напрямик!

— Понравилась, Солидарен всей душой.

Листовка действительно принадлежала перу Кобы, который в ту пору был включен в состав Центрального Комитета партии и стал деятельным членом Русского бюро, то есть большевистского центра в России. В листовке в выборе слов, в формулировках явственно чувствовалось влияние книги Ленина «Что делать?» — той, с которой когда-то не расставался Коба. Эта переимчивость угнездилась в нем, была как бы чертой природы.

«...Разрозненные местные организации, — гласила листовка, не только не связанные друг с другом, но и не знающие о взаимном существовании, организации, всецело предоставленные самим себе, действующие на свой страх и риск и нередко ведущие противоположные линии в работе, — все это знакомые картины кустарничества в Партии... Влиятельный Центральный Комитет, живыми корнями связанный с местными организациями, систематически информирующий последние и связывающий их между собой, Центральный Комитет, неустанно вмешивающийся во все дела общепролетарских выступлений, Центральный Комитет, располагающий, для целей широкой политической агитации, выходящей в России нелегальной газетой, вот в какую сторону должно пойти дело обновления и сплочения Партии».

Прочитав незадолго до нечаянной встречи с Кобой это воззвание, порадовавшись, Кауров, однако, уже тогда определил: да, написано под влиянием Ленина, но не ленинским пером. «Информирующий последние», «дела... выступлений». Разумеется, Каурову не помнились в точности эти и подобные, рассеянные там и сям обороты речи, но осталось ощущение: листовка действовала бы еще сильнее, если бы гибче, многообразней было слово! Возможно, выдастся удобная минута, когда он, не оскорбляя авторской чувствительности Кобы, дружески это ему выскажет. А пока должен коснуться иного.

— Вот что меня смущает. Каждый раз в листовке слово «партия» пишется с большой буквы.

— И будем так писать в пору отречений. Если большая буква служит делу, давай ее сюда!

— Но это вроде бы из Священного писания.

— Что же, партия для нас единственно священна.

— Однако в статьях Ленина...

Коба оборвал:

— Во-первых, не называй фамилий. Ты тут распустился. Говори: Старик. Во-вторых, он же отец партии. А мы люди поменьше. И в теперешней обстановке, думаю, он нас не упрекнет, что и большой буквой поднимаем партию. Коба опять выдержал паузу. — Да и вообще-то им, заграничникам, надо больше прислушиваться к русским деятелям, к практикам, работающим на родной почве. А то оторвутся от действительности.

Впервые Кауров услышал, как Коба намекнул, что и Ленина может коснуться критический

огляд. Впервые же — по крайней мере, в беседах с Кауровым.

— Коба применил к себе именование «русский деятель». И весело заключил:

— Из-за транскрипции не поссоримся. Разногласие, Того, не принципиальное.

И сунул руку под локоть спутника. Это был жест доверия. Оба в эти минуты нежданной встречи как бы обменялись позывными, если употребить современный термин. И установили, что после пятилетней разлуки по-прежнему верны своей партии, разбитой, но не уничтоженной.

Уже покинув Невский, они шли по нешумной улице. На ходу Коба привычно, взглядом конспиратора окинул тыл, потом посмотрел в ту сторону, где за углом осталось желтенькое здание меблированных комнат.

— Желябов... Что говорить, героическая была натура, благородство против низости, рыцарство против нечестности, искренность против подвоха. Но каков итог?

Похожий на обитателя ночлежки, бездомный профессионал революции уснащал, как и некогда, риторическими вопросами нежаркую, не согретую эмоциями речь. Однако Кауров ощущал в ней своего рода ласку Кобы. Чуждый каким-либо дружеским признаниям, Коба ласкал верного давнего товарища не восклицаниями, не излияниями чувств, а одаривал откровенностью, делился мыслями, разговорился, что не часто с ним бывало.

— Каков итог? — повторил он. — История засвидетельствовала в бесчисленный раз, что прекраснодушные оказались битыми, раздавленными. Барон испробовал другой путь, но...

— Какой барон?

— Э, не потерять бы тебе звание интеллигента. Бароном в своих письмах Бакунин называл Нечаева. Барон испробовал другой путь, но никуда не ушел от теории героя и толпы. Эта теория, друг мой, рождает и рыцарей и провокаторов.

— И провокаторов?

— Бери Азефа. Сверхчеловек. Захочет и отправит на тот свет царского брата. Захочет и пошлет на казнь своего самого близкого якобы друга, руководителя боевой организации. И упивается в тиши собственной властью, силой своей личности. Вот как она, гиблая теория героя и толпы, может обернуться.

В афористически кратких фразах Кобы чувствовалась продуманность. Он, видимо, уже изучил историю русского революционного движения. Развился, не потерял миновавших, проведенных в подполье, в тюрьмах и в ссылке годов.

Каурову пришла на память еще одна строка из листовки Центрального Комитета партии: «Бибели не падают с неба, они вырастают лишь снизу...» Может быть, впрямь этот замарашка, тоже подобно немецкому бывшему токарю выбравшийся из самых низов, теперь вырастает в Бибеля России?

Подошли к дому, где на верхотуре, под самым чердаком обитали два студента — приятели Каурова. У них, любителей выпить, спеть, сплясать, нередко устраивались пирушки. Хозяйка тоже отличалась склонностью к винишку. В первом этаже помещался полицейский участок.

— Того, куда ты меня привел?

— Ничего. Опасность, как известно, стихия войны. Над этим логовом наилучшее для тебя пристанище. Спокойно здесь переночуешь.

Миновав полицейскую обитель, поднявшись по сбитым каменным плитам лестницы, вошли к весельчакам студентам. Коба ожидал в прихожей, пока Кауров объяснялся в комнате.

— Кто это с тобой?

— Грузин. Бедняк. Мой давнишний приятель. Приехал в Петербург поискать счастья. Хочет где-нибудь устроиться. Приютите его на ночь.

— Конечно, пусть ночует.

Вернувшись в прихожую к Кобе, Кауров сказал:

— Останешься здесь. Ни о какой политике не говори. Поддерживай мою версию: бедняк, приехал заработать. Завтра можешь перейти в другое место. Вот тебе адрес: Широкая улица.

— Кауров назвал номер дома и номер квартиры. — Там живет мой брат. Я ему скажу.

— Ладно. Уходи. Наставлений читать не буду. Ты тертый калач. Сам знаешь: осмотрись, чтобы улица была чиста.

Короткое рукопожатие заменило какие-либо сантименты. На этом расстались.

Несколько дней спустя Коба пришел на ночевку к брату Каурова — врачу, обитавшему с женой на Васильевском острове. Хозяева отсутствовали, гостя впустила милостивая домашняя работница. По-прежнему заросший, он смахивал на разбойника. Под изгибом выдававшейся вперед жесткой шевелюры, что зачесывалась лишь пятерней, был почти вовсе спрятан лоб. Щеголявшая в белой наколке петербургская девушка оторопела.

— Буду ночевать, — объявил он. И, усмехнувшись, предложил: — Если ты меня боишься, запри куда-нибудь и возьми себе ключи.

Она так и поступила, заперла его в маленькой комнате. Вернувшиеся хозяева, загодя предупрежденные Алешей, застали пришельца под замком. Комнатка была заволочена табачным дымом. Коба сидел и курил. Ему устроили ванну, выдали смену белья, посадили к зеркалу побриться. Невестка Алексея постригла Кобе бороду, находившуюся в анархическом состоянии. Он сразу после ужина лег спать.

Наутро вместе с ним позавтракали, выпустили его по черной лестнице, проводили взглядами через окно. Он твердым легким шагом горца пошел по Широкой улице.

(Повествуя, Алексей Платонович добавил:

— Пошел по Широкой улице в прямом и переносном смысле слова.)

20

Истекло более полугода. Как-то в зимний день в комнате Каурова появилась квартирная хозяйка.

— Алексей Платонович, к вам пришел какой-то... — Голос седоватой дамы явно выказывал сомнение, — Студент?

— Именно что не студент. Какой-то несчастный человек. Одет в летнее пальто. Обвязан шарфом. Грязный. Немолодой.

— Что же, пригласите его.

И вошел Коба. Его внешность, конечно, по-прежнему вызывала подозрения. Кепка, обмотанный вокруг шеи шарф, заношенное демисезонное пальто. Не стрижен, не брит. Встопорщенная черная борода. Губы посинели на морозе.

— Коба! Садись, раздевайся, согрейся. Сейчас найду тебе что-нибудь поесть, И прежде всего тебе надо чаю. Горячего чаю.

Достав у хозяйки кипяток, Кауров принялся отогревать Кобу чаем.

— Ну, Коба, рассказывай. Что с тобой? Откуда ты?

— Из Москвы. На вокзале в Москве заметил шпика. Улизнул от него. Сел в поезд. Прикорнул. Потом среди ночи на какой-то станции вышел на перрон. И увидел того же самого шпика.

— Черт... ну и мерзавец!

— Исполняет свое дело. Увязался, не отцепишься. Я несколько раз выходил из вагона. Он тут как тут. Наверное, он и минуты не поспал.

Кауров был наслышан о тактике охранного отделения: выследить крупного революционера, но брать не сразу, а вести наблюдение, не спускать глаз, чтобы пошире охватить законспирированную организацию. И лишь потом сгрести.

— Водил его, водил, — говорил Коба. — Кажется, удалось избавиться. Однако на явку все-таки я не пошел. Заскочил к тебе.

— Пей чай. Согревайся.

Кауров внимательно обзрел улицу в окно: не видно ли притаившегося или шастающего взад-вперед шпика? Нет, никакой сомнительной фигуры перед домом не было. Коба сказал:

— И он не спал, и я не выспался. Теперь бы мне соснуть.

— Ложись.

Коба скинул свои неприглядные башмаки и, не раздеваясь, вытянулся на кровати, далеко не доставая ногами спинки. Небольшие ступни были обтянуты нитяными дешевыми носками, которые, конечно, весьма слабо оберегали от мороза.

— Коба, ложись как следует. Разденься.

— Не привыкать.

Буквально в ту же минуту он заснул.

Проснулся уже затемно, часов в пять вечера. Возник вопрос, как проскользнуть мимо агента, если, паче чаяния, он не упустил Кобу. Может быть, Коба оденется в женское платье? Однако эту мысль пришлось отбросить. Если бы он и побрился, снял усы и бороду, все равно в его внешности, в повадке было что-то неискоренимо мужское. Даже не сразу определишь, что же это именно. Твердый ли широкий шаг, грубый ли склад прямоносого лица? Или посадка, повороты головы? Нет, нет, никак он не сойдет за женщину.

Надо хотя бы одеть Кобу по-зимнему. К сожалению, Кауров располагал лишь единственным своим студенческим пальто, служившим круглый год. Однако для Кобы нашлись теплые толстые носки, вязаная шерстяная фуфайка, перчатки, меховая шапка. Теперь тот был все же защищен от простуды.

— Коба, я сбегаю на разведку.

На улице Кауров не обнаружил ничего опасного. Мела поземка. Спешили прохожие, подняв воротники. Кауров прошелся. Повернул обратно. Настороженный взгляд нигде не обнаружил типа, который бы бессмысленно топтался.

Вернувшись, он сказал:

— Можно выходить. Шпика не видно.

Они вышли. Однако пройдя лишь несколько шагов по улице, Коба молвил:

— Он здесь.

— Где?

— Посмотри наискосок. Идет по той стороне наравне с нами.

Да, на противоположной стороне шагал высокий человек в жеребковой черной шапке с опущенными наушниками. Был поднят меховой воротник его пальто. Стриженные усы заиндевели. Кауров чертыхнулся:

— Негодяй! Где же он прятался?

— Об этом его надо спросить. Мастак!

Коба спокойно дал эту высокую оценку. Кауров спросил:

— Куда же идти?

— Пойдем на Невский. Там у нас шансов больше.

На Невском в оживленном движении пешеходов шпик будто потерялся. Кауров оглядывался преследователь и впрямь исчез.

— Коба, кажется, он нас проворонил.

— Не торопись с выводами.

— А что?

— Посмотри вперед.

Действительно, шпик шел впереди.

— Остановимся, предложил Кауров.

— Этим его не облапошишь. Не таковский.

Все же остановились. Уроженец далекого теплого Гори не ежился на колючем ветру, спартански себя вел. Лишь одна его рука, та, которой он не вполне владел, более чувствительная к холоду, была обряжена в перчатку, другую же кисть, на морозе покрасневшую, он, будто выказывая презрение злой погоде, не счел нужным кутать. Рослая фигура вдруг куда-то пропала. Казалось, шпика унес торопливый поток Невского. Наши кавказцы двинулись.

— Вот он! — выговорил Коба. И повторил характеристику: Мастак!

Да, неподалеку всплыла та же жеребковая шапка с опущенными боковинками. Так они и шли,

то теряя соглядатая, то вновь примечая его.

— Знаешь, Коба, пока на него плюнем. Завернем в этот ресторанчик. Тут кормятся студенты. Почти столовка. Цены недорогие. Поедим. Обдумаем, как быть.

— Ладно. Зайдем.

21

В кухмистерской они заняли свободный столик у завешанного шелковыми шторами окна. Съели по бифштексу. Заказали чай. Кауров отодвинул шторку. И как раз напротив окна высился тот же тип. Он растирал варежкой побелевшие щеки. Топорщились подстриженные рыжеватые усы, с которых варежка счистила иней.

Коба улыбнулся. Эта невозмутимость преследуемого, тщедушного с виду грузина была поразительной. Опять в уме Каурова мелькнуло давнишнее определение: «Человек, не похожий на человека». Спокойствие Кобы заражало, передавалось, как своего рода эманация. Кауров сказал:

— Может быть, он не выдержит на морозе и уйдет. Наполеоновская армия не вынесла таких морозов.

— Вынесет.

— Ну, посидим тут. Давай возьмем и чаю, и вина.

— Неплохая мысль. А он пусть терпит.

Коба ухмыльнулся, показывая крепкие желтоватые зубы. И опять Кауров словно бы явственней увидел ложбинку, раздваивающую кончик носа.

— Вынесет, — повторил Коба. — Не француз. И не еврей.

В отличие от мимически бедной физиономии Кобы тонкокожему лицу его младшего товарища была свойственна свободная игра. Сейчас губы слегка выпятились: Каурову не понравилось это «не еврей».

— Русский характер, — пояснил Коба. — Или, возможно, из немцев. Подумай, платят ему каких-нибудь сорок рублей в месяц. А он способен на такую самоотверженность. Из-за чего?

— Боится потерять место.

— Нет, не только. Он себя истязает не просто ради денег, у него есть свое служение. Какое же? Он сопричастен механизму государства. Последняя там спица. Исполнитель — в этом и его долг, и азарт, и упоение. Русская литература таких знает.

Коба помолчал, оттянул шелковую ткань. Жеребковый треух по-прежнему маячил у окна. Мороз вынудил филера поплясывать, притаптывать застывшими ногами.

— Не уйдет, — определил Коба. — А ведь, собственно говоря, кроме исполнительности, возведенной в страсть, у него за душой ничего нет. И все-таки он вот на что способен. Замерзнет, но не отступится. Так представь же себе, Того, какие чудеса смогут сделать наши люди, когда власть будет у нас!

Поворот мысли был столь неожиданным, что Кауров не скрыл изумления. Какая штука! Сидит преследуемый, почти загнанный Коба в мятом-перемятом, что под стать бродяге, пиджаке. Вот-вот арестуют. Разгром за разгромом обрушиваются на организацию. Неизвестно, удастся ли избавиться от слежки, найти более или менее безопасное укрытие на ночь. А он, попивая чай с вином, спокойно говорит: «...когда власть будет у нас!»

В ту минуту память невольно воспроизвела кусочек давнего разговора с Лениным, его слова: «Нам вскоре очень понадобятся инженеры». И вновь настойчивое: «Математики весьма пригодятся партии, когда завоюем власть».

Кауров воскликнул:

— Знаешь, Старик тоже уверен, что на своем веку еще дождетя революции.

— Он не дожидается, он ее двигает, — поправил Коба.

— Ты прав.

— Рад от феодала это слышать.

— От феодала?

— Не в укор тебе это говорю. Есть и у феодалов что-то хорошее. Например, гордость. Ты гордый человек. Не склонишь головы, если не согласен. Ну, это в сторону. Где же ты со Стариком встречался?

Последовал рассказ Каурова о том, как он наведася в Париж к Ильичам. Коба внимательно слушал, глухо расхохотался, когда Кауров передал фразу Ленина: «По-пролетарски по мордасам, по мордасам». И подтвердил:

— Стесняться нечего. Лупить, лупить прямо в сопатку! Главное сейчас — это борьба с ликвидаторами. Нужно провести глубокую разграничительную борозду между нелегальной партией и ликвидаторством. И послать к черту примиренцев!

Вновь налив чая в свой опорожненный стакан, плеснув туда вина, Коба изрек пришедшуюся к случаю поговорку:

— Лучше вода с вином, чем вино с водой.

Еще некоторое время они говорили о политике. Коба расспрашивал о веяниях, о настроениях в студенческой среде. Кауров рассказал о социал-демократической группе университета. В ней лишь горсть большевиков.

Подошла наконец минута, когда он тронул другую тему:

— А как ты, Коба, провел эти годы?

Коба, однако, был скуп на сообщения о себе. Не поощрял излишнего любопытства.

— Похоронил Като, произнес он. Был с нею счастлив. И, лишь потерявши, оценил. Она меня понимала, как никто. Да ты видел сам... Помнишь, как впопыхах она спрятала свою тарелку?

Кауров смутился, Он был уверен, что Коба тогда не перехватил его брошенного под стол взгляда. Ведь, кажется, в тот момент сидел почти спиной к Каурову, развернул газеты. И, какая штука, сумел все-таки приметить!

— Э... э... Тарелку?

— Не лукавь. Тебе это не пристало.

Неискристые карие глаза в упор глядели на Каурова. Он потупился. Коба помолчал, продлевая смущение собеседника. И этим удовлетворился.

— Другую такую женщину я уже не найду! — вновь заговорил он. — Потерял Като и с тех пор я одинок.

Одoleвая замешательство, Кауров не совсем впопад откликнулся:

— У Ибсена в одном месте говорится: «Наиболее силен тот, кто наиболее одинок».

И неожиданно увидел в глазах Кобы знакомое по давним встречам впитывающее выражение.

— Где же это сказано? В каком произведении?

Коба опять на лету подхватывал знания, вбирал еще каплю образованности.

А на улице в неунимающейся вьюге по-прежнему караулил шпик. Теперь он, как можно было видеть, пустился в пробежку у окон кухмистерской.

— Танцуй, танцуй, — выговорил Коба.

Он явно не без злорадства наблюдал за пыткой холодом, которую выдерживал рыжеусый.

— Не уйти ли через черный ход? — предложил Кауров. — Здесь люди свои. Позволят. И удерем.

Коба, однако, вступился за своего шпики:

— Напрасно ты считаешь, что имеем дело с дурачком. Он сейчас работает не в одиночку. Черный ход, можешь быть уверен, тоже перекрыт.

— Так как же быть?

— Пойдем отсюда. Тут мы в западне. А там... Коба движением головы указал на улицу. Там с ним потягаемся. Сманеврируем по обстоятельствам. Он опять взглянул в окно на заволоченное низкое небо, слабо отражавшее свет города. То ли дело, Того, у нас в Грузии! Ночь — как бурка! Ничего не видать!

Впервые в этом разговоре он помянул Грузию. Прозвучала необычная в его устах нежная нотка. В нем, конечно, была еще жива любовь к своей маленькой родине.

Дождавшись, пока Кауров расплатился за скромную трапезу, Коба наклонился к его уху и с улыбкой прошептал:

— Мы живы! Кипит наша алая кровь огнем неистраченных сил!

22

Черным ходом они все же не пренебрегли, вышли через двор на узкую, стиснутую высокими домами улицу. В этой просеке клубился, взвихрялся туман. Огляделись. Нигде не было преследователя, Коба сказал:

— Мне надо на Выборгскую сторону. Там есть квартира, где смогу переночевать.

— Ты точно знаешь адрес?

— Да. Если доберусь, не приведя за собой хвоста, то на два-три дня я там останусь.

... Зашагали. Оборачивались. Слежки будто не было. Но Коба не доверялся впечатлению:

— От него так просто не отделаешься.

Повернули. На открывшейся перед ними площади возник ярко освещенный цирк. Красивым размашистым шагом, запряженный в незанятые санки, великолепнейший рысак обогнал наших пешеходов. Возница — лихач в синей поддевке окинул их безразличным взглядом — не сдоки.

— Коба, деньги у тебя есть?

— Немного.

Кауров выгреб из кармана рубль с мелочью:

— Вот! Сразу садись на лихача и гони! А я постою за углом. И, если покажется шпик, бахну его по голове. У меня с собой кастет. Быка можно свалить.

Коба спокойно возразил:

— Это делу не поможет. — Он вновь отдал должное противнику: — Не на того нарвались. Он же не один.

— Ну, бери этого лихача и гони!

Коба мгновенно настиг санки, уселся. Рысак тотчас же помчался, вскидывая подковами снежную пыль. Санки исчезли в этой белесой круговерти, искрившейся на электрическом свету.

Кауров с облегчением глубоко вобрал морозный воздух. Но еще не успел выдохнуть, как мимо во весь мах промчался другой лихач вслед Кобе. За козлами сидели двое. На одном из них Кауров разглядел черный жеребковый треух с опущенными боковинами.

Оцепенев — что можно было тут поделаться? — Кауров стоял, созерцая, как по ветру разносится, рассеивается взметнувшаяся пелена. И, омраченный, повернул домой. Какая штука... Игру ведет дьявольски искусный шпик, дока гнусного своего ремесла. Кобе не удалось скрыться.

Дома Кауров почистился. Кое-что сжег. Его в ту ночь не тронули. Подумалось: странно. Не снова ли кого-нибудь подстерегают?

Нагрянули следующей ночью. Произвели тщательнейший обыск. Перебрали все его книги. Он из Бельгии привез Маркса и Энгельса, Лафарга, Каутского, Бебеля, Розу Люксембург на немецком и на французском языках. И рискнул оставить все это на полках. Те, кто к нему вторгся, подбрасывали к потолку каждую книгу. Кауров впервые наблюдал это нововведение. Подброшенная книга разворачивалась в том месте, где ее часто раскрывали. Там ищут знаки, какую-нибудь подчеркнутую фразу, ключ к некоему шифру. В ордере, что был ему предъявлен, значилось: поступить согласно результатам обыска. Обыск ничего не дал. Каурова не арестовали.

К утру он привел комнату в порядок. Корректная по-петербургски хозяйка воздержалась от

расспросов или замечаний. Днем она постучала к нему.

— Вас просят к телефону.

Взяв трубку, назвавшись, он вдруг услышал хриловатый голос Кобы.

— Это я, — произнес тот по-грузински.

Кауров тоже перешел на грузинский:

— Ты? Как же это? Что с тобой?

— Ничего. Все благополучно. Здоров.

— Но как же ты сумел? Где ты?

— У своих приятелей. Меня ты теперь не узнаешь.

— Почему?

Коба шутливо ответил:

— Это будет для тебя сюрприз. Встретимся, поймешь.

— Когда же?

— Сам тебя найду.

Назавтра Коба действительно объявился сам. Это произошло возле университета. Кауров шел на очередную лекцию и вдруг уловил сзади негромкое, ставшее уже сакраментальным:

— Того!

К нему спокойно приближался студент Военно-медицинской академии, одетый по всей форме — золоченые пуговицы с тисненными двуглавыми орлами и погончики на сукне офицерской шинели, кокарда на фуражке. Выбритый, подстриженный, Коба казался в этом наряде молодым.

— Рад тебе, воскликнул Кауров. Как себя чувствуешь?

— Сам видишь... «Темляк на шпаге, все по циркуляру».

— Это откуда?

— Из Алексея Константиновича Толстого. Почитай. Сильный писатель.

Кауров на миг изумился. В непрестанных скитаниях Коба, значит, успевает поглощать русскую классику. Или, может быть, от кого-то схватил на лету?

— Хвоста за тобой нет, продолжал Коба. Можем пройтись.

— Как же ты от них ушел?

— Я сразу почувствовал, что идет погоня. Тот, который меня повез, тоже был шпик.

— И что же дальше?

Коба неторопливо рассказал. Рысак вынесся на Выборгскую сторону. Там, вдали от центра, улицы едва освещены. И видны лишь редкие прохожие. Кромка тротуаров обозначена

высокими сугробами. Коба решил на ходу выскочить, улучил момент и на повороте, сжавшись в ком, перевалился через низенькую спинку санок, выкатился, втиснулся в сугроб. Лихач не заметил. Следом пролетела погоня. Коба с головою зарылся в сугроб, забросал себя снегом.

— Пришла и моя очередь терпеть, не без юмора говорил он. Какое-то время отсиживался под снегом. Слава богу, помогли твои теплые носки, шапка и фуфайка. Потом отряхнулся и пошел. Видишь, здоров!

В этом эпизоде себя выказала хватка Кобы или свойственная ему, если воспользоваться позднейшим выражением Каурова, манера боя. Никаких опрометчивых шагов, бесшабашности, метаний и — внезапный меткий быстрый удар!

Кауров сообщил про обыск. Коба усмехнулся, узнав, что в порядке было записано: поступить согласно результатам.

— Да, им нужны были улики, — сказал он. — Закон требует. Вот их собственный закон и помешал им. Мы такой ошибки не повторим.

Опять он говорил о власти как о чем-то таком, чем неминуемо вскоре придется обладать. Его настроение было отличным.

Он оглядел себя. И снова пошутил:

— Военный медик. Хирург Железная Рука. — С утрированной сокрушенностью прибавил: — Завтра придется снимать это одеяние, возвратить владельцу. Оставил его в нижнем белье.

Весело отрекомендовавшись Хирургом Железная Рука, Коба не счел нужным уведомить, что он уже избрал себе новое, отнюдь не шутливое имя: Сталин и подписывал свои выступления в печати «К. Сталин» или в нередких случаях поскромней: «К. Ст.». И о своей прочей деятельности ни словечком не обмолвился.

Встреча была краткой. Расставаясь с Кобой — и вновь не зная: надолго ли? Кауров попрощался.

23

После этой встречи Коба опять куда-то канул, проходили дни, он будто позабыл о своем Того. Но случилось вот что.

Однажды на какой-то грузинской вечеринке Каурова отозвал в сторону его давнишний знакомый золотоволосый (так и прозванный Золотая Рыбка) Авель Енукидзе, большевик из Баку, теперь работавший металлистом на одном из заводов Питера. Некогда окончив техническое училище, Авель затем сам себя отшлифовал, много читал, любил серьезную музыку, театр и с одинаковым правом мог именоваться и интеллигентом и рабочим. Семейная жизнь у него не сложилась, он в свои тридцать пять лет оставался бобылем. Товарищам была известна его отзывчивость, мягкая натура, порой не исключавшая, однако, прямоты. Добрая улыбка делала привлекательными его крупные черты.

— Платоныч, — спросил он, — ты знаешь Сережу Аллилуева? Бакинец?

Авель кивнул. Да, в Баку Кауров слышал о рабочем-электрике Сергее Аллилуеве, участнике большевистского подполья. Но познакомиться не привелось. Так он и ответил Авелю.

— Душа-человек. Праведник, — убежденно продолжал Енукидзе. — Уже несколько лет живет здесь с семьей. Приютили меня в первые дни, когда я приехал в Питер. И теперь у них часто бываю. — Авель нерешительно покрутил кончик ремешка, опоясывающего его кремовую, навывпуск, кавказскую рубашку. И вот... Понимаешь, его старшая дочка-гимназистка отстает по математике. Жизнь гоняла по разным городам, в одной школе зиму, в другой ползимы, тут пропустила, там недоучилась, ну и... — Запнувшись, Авель деликатно спросил: — Не порекомендуешь ли какого-нибудь студента-математика, который мог бы за недорогую плату с ней подзаняться?

— Все понятно. Возьмусь сам. И никакой платы не надо.

— Но ведь придется туда ездить, тратить время. И небольшая плата...

— Авель, как тебе не стыдно! Прекрати. Дай адрес.

Енукидзе расцвел.

— В воскресенье ты свободен? Приду к тебе, и поедем туда вместе.

Семья Аллилуевых обитала в то время на Выборгской стороне. Большая квартира на третьем этаже являлась одновременно и жильем и служебным помещением. Акционерное общество, которому принадлежала петербургская электростанция, оборудовало в этой квартире дежурный пункт кабельной сети Выборгского района. Пунктом заведовал Сергей Яковлевич Аллилуев, выдвинувшийся из монтеров, опытный способный электрик, наделенный влюбленностью в свою профессию, воистину русский самородок и вместе с тем упорный, несмирившийся отрицатель угнетения и несправедливости, член большевистской партии.

Он и в воскресенье был одет в рабочую блекло-синюю куртку, из нагрудного кармашка выглядывал краешек кронциркуля: электроэнергия подавалась и в будни и в праздники, здесь, в дежурном пункте, следовало быть наготове на случай повреждения, перебоя в снабжении током.

Придя сюда в сопровождении Енукидзе (который, кстати сказать, прихватил с собой бутылку грузинского вина), Кауров впервые увидел Сергея Яковлевича. Поразила его изможденность, желтизна втянутых щек. Страдавший ревматизмом и какой-то нервной болезнью, явившейся последствием страшного удара током, Аллилуев выглядел старше своих лет. Выпирал костлявый большой нос. Морщинки изрезали высокий лоб, выделенный впалыми висками. Особенно примечательным были глаза — серьезные, несколько хмурые, даже, пожалуй, скорбные. Пронзительный, с сухим блеском взгляд свидетельствовал, что в этом человеке, подточенном болезнью, живет сильный дух.

В первую же минуту знакомства Каурову подумалось: схимник. Ей-ей, если бы надеть на Аллилуева монашескую рясу и скуфейку, получился бы правочерный, свято живущий русский схимник. Пришедших он встретил добродушно:

— Здравствуйте. Вот и опять у нас запахло керосином.

Кауров удивился:

— Керосином?

— Конечно. Это же запах Баку. Его, наверное, и вы не забываете.

Минуя монтерскую, где сквозь раскрытую дверь можно было видеть рубильники, приборы на мраморном щите, он повел гостей в столовую. На большом круглом столе, застланном подкрахмаленной скатертью, лежали газеты. Сергей Яковлевич приподнял одну. Это была издаваемая большевиками «Правда».

— Сегодняшнюю уже читали?

Тут вмешалась его жена Ольга Евгеньевна, которой в минуты знакомства Кауров почти не уделил внимания, лишь пожал ее пухленькую, но шершавую руку, огрубевшую, видимо, на кухне, в нескончаемой работе по дому.

— Газетами, Сережа, потом будешь угощать. Позволь сначала я накрою.

Голос был веселым. Легкий здоровый румянец красил округленное лицо. Полненькая, невысокая, Ольга двигалась очень легко, была словно воплощением бодрости, энергии. Когда-то, шестнадцатилетней девчонкой, она, гимназистка, воспротивилась отцу, решившему выдать ее за богатого соседа, и тайком убежала из обеспеченного родительского дома к двадцатилетнему слесарю Сергею Аллилуеву, уже известному как бунтовщик. С тех пор она вместе с ним помытарствовала, стала матерью четырех детей, душой семьи.

Сергей Яковлевич послушно очистил стол, но не дал себя сбить с разговора о «Правде». Улыбаясь, он сказал, что чит в монтерской и газета «Правда» вроде бы соединены между собой. И пояснил:

— В «Правде» сообщается о забастовке, а у нас, значит, пошел на убыль расход тока. По нашему счету можно, как по барометру, следить, какова погода.

— Какова же она? — спросил Кауров.

— Хорошая. Стрелка идет к буре.

Ольга Евгеньевна тем временем хозяйничала, мобилизовала Авеля, чтобы откупорить принесенную им бутылку, расставила закуски, торжественно внесла горячий с намавленной корочкой пирог, разрешила, разложила по тарелкам, наполнила рюмки. Все у нее спорилось. И сама же объявила тост:

— За бурю!

В ее завлажневших от вина карих глазах не было ни чуточки уныния. Казалось, она с радостью принимает выпавшую ей судьбу. Но нет... Вот Авель предложил выпить за хозяйку:

— Пожелаю каждому из нас иметь такую же подругу, никогда не теряющую бодрости, какую жизнь подарила нашему Сереже. Это ему за все невзгоды самая прекрасная награда.

Ольга Евгеньевна воскликнула:

— А мне? Мне что ты пожелаешь?

— Тебе? Пусть исполнится твое самое заветное желание!

Неожиданно Ольга погрузилась.

— Была у меня смолоду мечта, — проговорила она, — иметь профессию. Но не получилось... Осталась я в своем гнезде наседкой.

Дернулся уголок полных ее губ. Она провела по лицу ладонью и словно смела горечь.

— Еще мои годы не ушли! — задорно воскликнула она. — Волю, волю дайте мне! Профессию!

Аллилуев нежно сказал:

— Эх ты, моя Олюшка-волюшка! Будет еще у тебя профессия.

За это и чокнулись, Сергей Яковлевич лишь пригубливал из рюмки.

24

Вскоре в столовую вторглись две девочки, вернувшиеся только что с катка. Обоих раздурял мороз. Старшая, пятнадцатилетняя Нюра, унаследовавшая от матери широкое лицо и крупный рот, учтиво поздоровалась с гостями. Надя была младше на три-четыре года. Она тоже отвесила поклон. Ее, как и сестру, не повергло в смущение, не заставило дичиться присутствие незнакомого студента за столом. Дети в этой семье давно привыкли, что нет-нет в доме появляется кто-то неизвестный, порой и заночевывает в маленькой угловой комнате за кухней. Они с ранних лет восприняли, впитали исповедание родителей, знали, что пойдут по такому же пути. Друзья отца были и для них друзьями.

У радушного Авеля нашлись в кармане предусмотрительно запасенные, обернутые серебристой фольгой большие шоколадные ракушки. Этими сладостями он одарил девочек. Ольга Евгеньевна немедленно скомандовала:

— Съедите после обеда! Пойдемте, накормлю вас в кухне.

Однако она, заботливая мама, не сразу поднялась, еще полюбовалась дочками, чистенько одетыми, с бантами в косах, веселыми, здоровыми.

Меньшая подбежала к отцу, прижалась смуглой щекой к его плечу, внимательно посмотрела на Каурова. Сходство Нади и отца было разительным. Но еще более удивляло вот что: те же штрихи, которые у Аллилуева не казались пригожими, делали девочку красивой. Длинный прямой нос, как бы выраставший непосредственно из лба, почти без переносицы, не портил облик девочки, приводил на память запечатленные резцом лица гречанок. Был по-отцовски высок и ее лоб с резкими темными мазками бровей. Пожалуй, ей передалось и что-то монашеское, что-то подвижническое. Каурову на миг даже почудилось, что в выражении блестящих карих глаз проглянула недетская серьезность.

Но только на миг! Волнистые, непокорно встрепанные, хотя и заплетенные в косу (о, сколько раз из-за этой встрепанности Наде приходилось выслушивать в гимназии замечания!) каштанового отлива волосы выказывали живость природы. Живой краской рдела смуглая, с пушком щека. Нет, какая же это монашка? И словно в лад мимолетным впечатлениям гостя, Надя уже предстала шаловливым подростком, звонко возгласила:

— Нюра, бежим!

Аллилуев ее попридержал.

— Как покатались?

Надя взмахнула рукой. Жест был победоносным, ей, видимо, хотелось похвалиться. Но она этого себе не разрешила:

— Спроси Нюру!

Будущая подопечная Каурова независтливо ответила:

— Сегодня она всех обогнала.

Надя рассмеялась и побежала из столовой. За нею более степенно последовала старшая

сестра.

Полчаса спустя Кауров уже в детской, где уместилось четыре кровати, начал свое репетиторство, побеседовал с Нюрой, ознакомился с ее тетрадками. Условились, что он будет приходить два раза в неделю.

Сергей Яковлевич на прощание заговорил относительно оплаты. Кауров и его пристыдил, отказался наотрез брать деньги с Аллилуевых.

Вот гости покинули электропункт, вышли под пасмурное питерское небо, медлительно посыпающее улицы снежком. Енукидзе сказал:

— Платоныч, у меня еще одно дело к тебе. Помоги немного «Правде».

— «Правде»? Охотно. Но чем же?

— У них в редакции не хватает интеллигентных сил. Ты был бы очень нужен.

— Что же я смогу там делать?

— Тебе по Баку знакомы вопросы профессионального движения. А в «Правде» отдел профсоюзной жизни ведется слабенько. Нужны люди. Надо ходить по союзам, писать корреспонденции. Авель добавил: Там и заработок у тебя будет.

— Я бы пошел, но...

Кауров, признаться, не был уверен в своих литературских способностях.

— Чего «но»? Сколько сможешь, помоги.

— Попробую.

Авель обрадовался:

— Тебя в редакции уже ждут. Иди туда, обратись к...

Так в начале 1913 года Енукидзе сосватал Каурова в «Правду». Студент-математик стал штатным сотрудником. Оживление партии, рабочее движение, вновь после упадка набравшее мощь, подхватило, понесло и его на своем гребне.

25

Как-то вечером, добросовестно отбив свою упряжку репетитора, похвалив Нюру, проявившую усердие и сообразительность, Кауров собрался уходить. Однако его ученица вдруг произнесла:

— Алексей Платонович, подождите здесь минутку...

— Что такое?

Не объясняя, она лишь повторила:

— Минутку.

И быстро вышла в коридор. Он сквозь раскрытую дверь слышал удалявшиеся в сторону кухни

и, кажется, дальше — к маленькой угловой комнате — ее шаги.

«Минутка» оказалась слишком долгой. Кауров рассеянно придвинул лежавший на столе том Диккенса «Давид Копперфилд», видно, многими уже читанный. Закладкой служила ученическая тонкая тетрадь, принадлежавшая, как явствовало из надписи, меньшей сестре, которую Кауров про себя именовал: носатенькая. Да, подошло и для нее время увлекаться Диккенсом.

Внезапно он почувствовал, что кто-то на него смотрит. Обернулся к двери. На пороге стоял неслышно подошедший Коба.

Он был одет по-домашнему. На ногах войлочные туфли. Пиджак отсутствовал. Вязаная серая фуфайка, полученная от Каурова, облегалась худое туловище. Маленькая, щуплая фигурка могла бы принадлежать подростку пятнадцати лет. Но тяжелый его взгляд по-прежнему было трудно выдержать. Усы и скрывающая сильную нижнюю челюсть борода, по-видимому, недавно повстречались с ножницами, выглядели аккуратно. Однако тут же Коба разрушил это не вяжущееся с ним представление об аккуратности. Он без стеснения почесался, оттянув ворот фуфайки, надетой, как заметил Кауров, прямо на голое тело. Наверное, он скинул, дал здесь постирать свое белье. У Каурова невольно вырвалось:

— Ты, значит...

Он хотел спросить «значит, здесь живешь?», но спохватился. Сколько раз в подобных случаях Коба холодно его осаживал. Однако сейчас Сталин не показал недовольства.

— Нет, — произнес он, распознав недоговоренную фразу. Живу кочевником. И пошутил: Это полезней для здоровья. Затем продолжал: — Случается, и тут переночую. Ну, а ты как, Того? Пишешь?

Коба не подмигнул, не улыбнулся. Оставалась прежней маска восточного спокойствия, некой туповатости. «Пишешь?» Откуда ему стало известно? Свои хроникерские заметки Кауров подписывал просто буквой «К.», а чаще они шли совсем без подписи. Он не знал, что Сталин, который в редакции никогда не появлялся, близко участвовал в формировании номеров газеты. Не знал и о работе, какую тот проделывал для шестерки большевиков-депутатов Государственной думы. Не от Енукидзе ли дошло? Догадка заставила воскликнуть:

— Коба, так это ты подсказал Авелю?

— Экая важность: я или не я? Чего об этом толковать?

И все же под усами мелькнула усмешка, оживившая лицо. Каурову уже не требовалось иного подтверждения: Коба, именно Коба говорил тогда устами Авеля. Все устроил и держится в тени. И вот даже не хочет разговаривать о своей роли, о себе. Лишь усмехнулся. И поставил точку. И, опустившись на стул рядом с Кауровым, сам стал расспрашивать. Его интересовали дела профессиональных союзов. И в особенности настроения в связи с расколом думской социал-демократической фракции на две части: шестерку и семерку. О меньшевистской семерке он выразился резко: слякоть, сволочь, слизняки. Кауров сказал, что, сколь он на основе своих впечатлений может судить, общее настроение таково: хотят единства.

— Общее... — передразнил Коба. И твое тоже?

Кауров затруднился:

— Какая штука... Кому же приятно раздробление сил?

— Какая штука, — опять симитировал Сталин. — Вижу, что и на тебя действуют фразочки Троцкого.

Кобины глаза, где можно было отыскать и серый, и зеленоватый, и коричневый цвета, враз пронизала желтизна. Он жалил Каурова, будто вымещая раздражение.

Совсем недавно — в январе 1913-го — Коба провел некоторое время в Вене, где по совету Ленина писал свою работу «Марксизм и национальный вопрос». Там он впервые повстречался с Троцким, который в ту пору, воюя против «раскольников Ленина», выступал объединителем всех течений, групп, оттенков российской социал-демократии.

Троцкому были свойственны умственный аристократизм, сознание собственного превосходства, обособленность, или, если употреблять позднейший термин, неконтактность. Исключение он делал для немногих. Кобу, не владевшего немецким или иным европейским языком, да и по-русски говорившего с резким грузинским акцентом, к тому же лишь синтаксически примитивными, короткими фразами, возымевшего претензию отстаивать большевизм, да еще и отважившегося лезть в теоретические проблемы марксизма, он обдал презрением. Подробности этой встречи в Вене, возможно, уже невозстановимы, но нельзя сомневаться: язвительный Троцкий до смерти обидел самолюбивого грузина. Так зародилась личная вражда.

Там же, в Вене, упомянем кстати, завязалась дружба Кобы и молодого большевика Бухарина, который, душа нараспашку, помог будущему Сталину разобраться в источниках на немецком языке, выбирал, переводил для него цитаты.

Скрытный по натуре, Коба не стал распространяться перед Кауровым о своих венских встречах. Сказал:

— Троцкого я повидал. Фальшивый барин. — Не удовлетворившись этим определением, он его усилил: — Фальшивый еврейский барин. Чемпион с фальшивыми мускулами. Раздень его — и что останется? Ничего, кроме желания играть первую роль. Подобным эгоцентристам в выдержанной рабочей партии места не будет. Они и стараются кое-как сляпать что-то расплывчатое, неоформленное. Какую-то слизь вместо боевой партии. Надеются в таком месиве пофигурять.

Опять логика Сталина была несокрушима. Если ты принимаешь книгу Ленина «Что делать?», тезис о сплоченной централизованной партии, о роли профессионалов революционеров, то принимай и выводы, то есть раскол, разрыв с мелкобуржуазной бесхребетностью. И опять Каурова пленяла ясная голова, сильная воля собеседника.

— Согласен с тобой, Коба.

— А ты нагородил: общее мнение. Во-первых, у меня другие сведения. Во-вторых, если и общее, надо его переломить. Победа с неба к нам не свалится. Надо поработать. Твердо отстаивать большевистскую позицию. С этим и являйся в профессиональные союзы.

— Я как раз сегодня буду в союзе металлистов. Прямо туда и собираюсь.

— В разговорах держись твердо. Водицей вина не разбавляй.

— Ну, я пошел. Загляну только к хозяевам, сказать «Всего хорошего!».

— Что же, заглянем вместе.

В столовой Ольга Евгеньевна шила на машинке; Нюра прилежно склонилась над тетрадкой; Надя, обмакивая тонкую кисточку в чернила, что-то выводила на приколоченной крышке фанерного ящичка. Еще несколько таких же ящичков громоздилось на столе. Девочки не бросили своих занятий, когда в комнату вошли Коба и Кауров. Лишь мама оставила машинку.

— Дядя Сосо, — живо выговорила Надя, — хорошо у меня получается?

И продолжала водить кисточкой. Бородатый «дядя Сосо» подошел к ней, девочке, которой еще не минуло двенадцати (кто мог тогда ведать, какие судьбы уготованы ему и ей?), и, не склоняясь, посмотрел на ее работу. Она надписывала адреса на посылках, которые уйдут в далекую Сибирь партизам-пленникам царского правительства. Средства для такой помощи составлялись из добровольных взносов. Девочки Аллилуевы ежемесячно обходили с подписным листком известные им семьи, приносили деньги. И из квартиры Аллилуевых текли, текли посылки.

Коба проронил:

— Не имею замечаний.

Надя подняла на него взгляд. Кауров снова уловил в ее карих глазах отцовскую серьезность. Однако носатенькая девочка тут же засмеялась:

— Мама, слышишь? Дядя Сосо не имеет замечаний! Чем горжусь.

Ольга Евгеньевна улыбнулась своей младшей. И сказала:

— Иосиф, мы вам сделали теплые вставочки. Примерьте.

Легко поднявшись, она сняла со спинки стула потертый темный пиджак Сталина.

— Надевайте, Иосиф, надевайте.

В этом доме Коба позволял называть себя и Сосо и Иосифом. Он, знавшийся с Сергеем Аллилуевым еще в Тифлисе и затем в Баку, теперь был принят здесь по-родственному.

Ольга ловко расправила пиджак, хотела поддержать, чтобы удобнее просунулись руки в рукава. Коба отклонил эту услугу, напялил свое одеяние. Под лацканами пиджака с каждой стороны были пришиты черные, на вате, вставки, закрывавшие косячок груди и шею по кадык.

— Застегните. Или дайте я.

Коба сам застегнул вставки. Молвил:

— Спасибо.

Каурову Ольга пояснила:

— Он простуживается, застуживает горло. Да и галстука не любит. И вот мы ему придумали.

Кауров в мыслях усмехнулся. Не любит галстука. Да он попросту занашивает рубашки почти дочерна. А теперь этого и не заметишь.

В столовую то и дело глухо доносилось хлопанье входной двери. В электропункте пульсировала трудовая жизнь: сменялись, уходили по вызовам монтеры и другие рабочие кабельной сети. Что говорить, отличный приют для нелегального ночлежника, Легко затесаться в гурьбу и незамеченным прийти, уйти.

Коба присел в своем обновленном пиджаке. Он был доволен, жмурился, подняв нижние веки.

У Каурова вновь всплыла догадка. Пожалуй, не только в «Правду», но и сюда, в дом Аллилуевых, он был привлечен Кобой. Да-да, и в этом Авеля подтолкнул Коба. И ни намеком свою роль не обнаружил!

Кто знает, уловил ли Сталин мысли Каурова. Покосившись на него, грубовато бросил:

— Чего прохлаждаешься? У тебя же дело!

Студент-«правдист» сказал всем «до свидания», погладил непослушные волосы Нади, уже отложившей кисточку, и пошел исполнять корреспондентские обязанности, добывать материал для «Правды». А заодно пользоваться всяким случаем, чтобы негибаемо поддержать думскую шестерку, твердо отстаивать невозможность единства с ликвидаторами и теми, кто клонится в их сторону.

27

Минула еще приблизительно неделя. Кауров приходил к Аллилуевым на свой урок, однако Кобы уже не заставлял. Угловая каморка пустовала, там можно было заниматься.

Как-то днем Кауров находился в «Правде», вычитывал корректуру профсоюзной хроники. Раздался телефонный звонок. В трубке Кауров услышал:

— Того?

— Я.

Коба заговорил по-грузински:

— Хочу повидаться. Ты свободен?

— Через полчаса освобожусь.

— И куда пойдешь?

— В нашу типографию на Ивановской. Понесу гранки.

— Условились. Где-нибудь на улице я тебя встречу.

И вот на какой-то улице зимнего Питера к Каурову, неизменно носившему студенческую шинель и форменную, с синим околышем фуражку, подошел Коба. Он, как и прежде, ходил в кепке и в летнем забахромившемся пальто. Кое-как намотанный шерстяной шарф топорщился вокруг шеи. Из-под шарфа виднелись краешки напозавших к кадыку черных, на вате, вшитых в пиджак вставок.

Коба был мрачен. Казалось, некий пламень еще истемнил его смуглое лицо. Глаза, по-всегдашнему маловыразительные, смотрели исподлобья.

— Коба, что с тобой? Ты болен?

— Нет, не болен. — Он замолчал; слова будто наткнулись на какое-то препятствие. Потом все же заставил себя произнести: — Ты мой друг. Только с тобой могу об этом говорить.

— О чем?

Опять точно какая-то затычка не позволила Кобе продолжать. Десяток-другой шагов они шли молча. Затем Коба опять одолел незримую препону:

— Знаешь, приключилась неважная история... Есть один товарищ... Оседлая жизнь, семья...

— Отрывистые фразы разделялись паузами. — Очень хороший человек... У него жена...

Понимаешь, баба... Лезет...

Он с усилием вытягивал из себя эти признания. Тут столкнулись его замкнутость и припадок искренности, которая для Кобы была невероятно трудной. И все же потребность выговориться пересиливала.

— Навязывается, — продолжал он. — Навязалась...

Внутренняя борьба, мучения Кобы, высказанные в словно обрубленных словах, были естественны, человечны. В нем жили, возвышали голос понятия подлости, понятия чести. Жили и терзали, сжигали его.

Ничье имя Коба не назвал. Извергнув свою исповедь, он сказал свободней:

— Хоть отрубай сам себе палец, как отец Сергей у Толстого.

— И отруби!

— Поздно.

— Тогда уходи оттуда.

— Куда уйдешь?

Эти слова опять трогали искренностью.

— От самого себя? — протянул Кауров.

Не ответив, Коба легонько подтолкнул друга вперед — это был жест расставания, — а сам повернулся, зашагал обратно. Его поглотил питерский холодный туманец.

28

Спустя несколько дней — еще одна встреча.

— Дядя Сосо! Идите же. Им уже пробил звонок.

Воздев кулачок и будто потрясая воображаемым звонком, Надя другой рукой влекла «дядю Сосо» в детскую, где Кауров терпеливо гонял старшую дочку Аллилуевых по разделу «извлечение корня».

Темная блуза Кобы была, видимо, недавно отстирана — незастегнутый воротник с посекейшей кромкой пока вовсе не лоснился. Кивнув Каурову, Коба с улыбкой, почти не приметной под усами, наблюдал, как Нюра складывала тетрадки и учебники. Надина рука все не отпускала его палец.

Нюра сказала:

— Вчера мы катались с дядей Сосо.

Кауров недоуменно выпятил нижнюю губу:

— С дядей Сосо? На коньках?

Нюра отрицательно повела головой, более непосредственная Надя хохотнула.

— На финских вейках, объяснила она. Сел с нами к финну в санки... И под бубенчики, она опять потрясла кулачком в воздухе, раскатывали по городу.

Кауров по-прежнему недоумевал. Коба и бубенчики? Несовместимо!

— Понимаешь, масленица, — сказал Коба. — И как раз получил немного денег. Гонорар за одну вещь. Уже есть набор. Ну, в честь...

Тут в детскую молодой походкой вошла мама. Голубоватый чистенький кухонный фартук опоясывал глухое ее платье. В подвижной жизнерадостной физиономии, обращенной к Кобе, выразилась укоризна. Тот, не убыстряя речи, договорил:

— В честь такого случая повеселил девочек.

— Зачем, Иосиф, вы их балуете? Не довольствуясь этим упреком, Ольга Евгеньевна возвала и к Каурову: Он еще их повел в кондитерскую, угощал. Сосо, вы не должны так транжирить свои деньги.

— Сбережения, что ли, делать?

— Не сбережения, а что-нибудь себе купить.

Коба остался неподатлив:

— Обойдусь. И не погнушался общеизвестной шутки: Дело к весне, цыган шубу уже продал.

Ольга Евгеньевна опять апеллировала к Каурову:

— Алексей Платонович, как на него подействовать? Платоныч комически сокрушенно ответил:

— Безнадежно.

Эта реплика вызвала смех обеих девочек. Надя звонко повторила:

— Безнадежно!

Да, Кауров давно знал: неряха, голодранец, бессребреник 0, все это, и неприятное и привлекательное, какая штука, в Кобе сплелось, не расплести.

Ольге Евгеньевне пришлось только вздохнуть.

— Будем пить чай! — объявила она.

Однако у Кобы были свои планы.

— Ольга, если не возражаете, дайте нам чай в угловую. Ты, Того, свободен?

— Да.

— Пойдем, поговорим. Нас тут извинят.

...Угловая была прокурена крепким дешевым табаком. Волокна, крошки из разорванной пачки этого, грубой резки, почти черного табака виднелись на листах писчей бумаги, на пухлой стопке корректурных оттисков, делали нечистым узкий стол. Там же уместились настольная электрическая лампа под зеленым абажуром, чернильница-непроливайка, школьная тонкая ручка. На спинке стула был распялен пиджак Кобы. Гвоздь в стене служил вешалкой его пальто и кепке. Рядом раскачивался маятник ходиков. Заправленная серым одеялом койка притиснулась к противоположной стене.

Усадив Каурова на стул, Коба подал ему гранки.

— Вот, дали за это гонорар. Печатают в журнале «Просвещение».

Кауров достаточно знал Кобу, чтобы сквозь небрежность тона расчухать авторскую его гордость. На первом листе значилось: К. Сталин. Национальный вопрос и социал-демократия.

— Поздравляю.

— Спешись. К чему поздравлять, если не прочел?

— Это же твоя первая большая работа... Сталин... Коба Сталин... Неплохо ты назвался. Тебе это подходит.

— Того, ты, кажется, преподносишь комплименты. Не нужно. Не для этого я тебя позвал.

Сталин медленно свернул самокрутку, придвинул табак гостю.

— Нет, сказал Кауров, мне страшноват твой горлодер.

— Изнежился.

Кауров все же предпочел папиросу из собственной коробки. Закурили.

Коба прошелся, затем отобрал у Каурова оттиски.

— Хочу прочесть тебе другое. Статью для «Правды» о нашей думской фракции. Только что закончил.

Взяв со стола исписанные ясным твердым почерком листы, он присел на койку и стал внятно читать, как бы разделяя паузами фразы. Статья начиналась так:

«В № 44 «Правды» появилось «заявление» семи социал-демократических депутатов, где они враждебно выступают против шести рабочих депутатов.

В том же номере «Правды» шесть рабочих депутатов отвечают им, называя их выступление первым шагом к расколу.

Таким образом рабочие становятся перед вопросом: быть или не быть единой с.-д. фракции?

До сих пор с.-д. фракция была едина и своим единством сильна, достаточно сильна для того, чтобы заставить считаться с собой недругов пролетариата.

Теперь она, быть может, разобьется на две части на потеху и радость врагам...»

Кауров слушал, едва сдерживаясь, чтобы не прервать Кобу. Даже прикусил губу. Как же это так? Сталин убедил его в необходимости разрыва, толкнул агитировать за раскол, а сам? Сам пробит о единстве... И кончает статью этим же:

«...обязанностью сознательных рабочих является возвысить голос против раскольнических попыток внутри фракции, откуда бы они ни исходили.

Обязанностью сознательных рабочих является призвать к порядку семь с.-д. депутатов, выступивших против другой половины с.-д. фракции.

Рабочие должны теперь же вмешаться в дело для того, чтобы оградить единство фракции».

Закончив чтение, Коба кинул листки на стол, взглянул на слушателя. Тот отчужденно молчал.

— Чего нахохлился? Выкладывай. Не обижусь.

Кауров покосился на светящийся зеленый абажур, Сталин посмотрел туда же и, припомнив, видимо, случай в Кутаисе, швырок лампы, преспокойно отпустил шутку:

— Только чужого имущества не порть. Договорились?

Каурова наконец прорвало:

— Ты мне в этой же квартире доказал, как дважды два, что необходим раскол, а пишешь теперь совсем другое. Где же твоя принципиальность?

— Продолжай. Отвечу на все сразу.

— Мы же не хотим объединения! Зачем же писать противоположное?

— Значит, подарить нашим противникам великий лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь»? Отдать идею единства рабочих? Раскол надо совершать тактически искусно. Тогда поведем за собой массы.

— Коба, но где же у тебя истина?

— Истина... Партия не студенческий кружок искателей истины. Мы на войне. Партия существует для того, чтобы одержать победу в демократической революции, привести к власти рабочий класс и угнетенные народные низы. И если ради победы надо тысячу раз нарушить истину, мы это сделаем. Не устрасимся взять такой грех на душу.

— Это же грязь...

— Тебе, может быть, хочется, чтобы о нас впоследствии говорили: они потерпели крушение, зато какие были чистенькие.

Тут тоненькая Надя, постучавшись, внесла поднос, где были два стакана чая, сахарница и расписная тарелка с грудой домашних коржиков. Девочка, видимо, намеревалась каким-то возгласом сопроводить угощение, но, взглянув на Кобу, вслушиваясь, молча приостановилась.

Лицо с увесистым, зачерненным щетиной подбородком, со вздыбленной над плоским лбом жесткой густой порослью не светилось вдохновением, однако источало силу. Его кодекс революционера, что сейчас он излагал, был, несомненно, до совершенной ясности продуман. Кауров ощущал, что внутренне сгибается перед этой неколебимой ясностью. Невольно смерив глазом мелкую фигурку Кобы, голову, твердо посаженную на худощавой, но как довелось испытать, мускулистой шее, он в тот миг подумал: «Да, пожалуй, из такого материала вычеканиваются вожаки революции».

Сталин, не уделив Наде внимания, продолжал:

— Рабочие вправе послать к черту таких чистеньких, не сумевших перевернуть Россию.

— Но зачем же прибегать к неправде? Элементарная мораль с этим не мирится.

— Мы, люди партии, знаем лишь единственный моральный закон: революционную целесообразность. Наше поприще не исповедальня! Святыми нам не быть. Но история оправдает нас, несвятенных...

Так и не разгоревшиеся, не утратившие туска глаза Сталина обратились к девочке, остановившейся у дверного косяка.

Подойдя, он костяшками двух согнутых пальцев слегка защемил ее тонкий прямой нос и, улыбаясь, потянул к себе. Она, подчиняясь этой шутке, отвечая улыбкой дяде Сосо, шагнула с готовностью к нему. Коба, видимо, теснее сжал заклиненную в его суставах мякоть носа. Надя перестала улыбаться. Тиски пальцев давили все сильнее. Девочка не могла вырваться, не могла пустить в ход руки, что по-прежнему держали приношение, глаза мученически повлажнели, но она молчала, превозмогая боль. Коба еще надавил. Две слезы сползли по ее щекам. Словно дожидаясь лишь этого, Коба наконец раздвинул свой зажим. Надя, отшатываясь, взбросила голову. Следы его костяшек белыми пятнами будто впечатались по бокам носа. Медленно возвращалась живая окраска.

— Дядя Сосо, вы... Вы это не нарочно?

Сталин ответил:

— Нарочно... Испытание выдержала. Можешь гордиться.

Скупым жестом он велел ей поставить угощение. Освободив руки, Надя только теперь потерла нос. Сталин спокойно продолжал:

— Надя, ты слышала наш разговор. Как же по-твоему: всегда ли следует говорить правду? Тебя кто-нибудь спросит: был ли у вас дядя Сосо? Что ты ответишь?

— Не был!

— А если станут мучить?

— Не был!

— Получи, Того, урок революционной морали.

Враз повеселев, Сталин неожиданно пропел:

Долгий сказ поведать кратко

— Вот шаири в чем цена.

Слово «шаири» принадлежало к терминам грузинского стихосложения, обозначало введенную Руставели строфу, ту, которой был написан «Витязь в тигровой шкуре».

Обладая верным слухом, Коба, когда бывал в хорошем настроении, любил что-нибудь спеть. Сипловатый его голос становился неузнаваемо чистым, высоким.

Надя коротко рассмеялась и повторила мелодию:

Вот шаири в чем цена.

И вынеслась из комнаты.

Сталин поглядел ей вслед, шагнул к столу, взял блюдце со стаканом чая и, прохаживаясь, заговорил мягче:

— Нельзя, Того, быть простаком. Оставят в дураках. Существует искусство стратегии и искусство тактики. Мы применяем тактический прием: ведем наступление под видом обороны. Это — военная хитрость.

— Да такую легко раскусят.

— Конечно, что это за хитрость, если у нее на лбу написано: я хитрость. Нет, она не торопится себя открыть.

Отхлебнув чая, Коба добавил:

— Старик склонен к торопливости. Доказываем ему: необходима выдержка. Тогда наверняка свернем шею меньшевистской шатии.

Скупым поворотом кисти он будто и впрямь сломал шею некоему куренку. Потом сказал:

— Ну, засиделись. Выходи первый. А за тобой и я отсюда выберусь. Оглядел каморку. Надежное местечко. Но на всякий случай переберусь. — Пошутил: — Держу ушки на макушке.

Выйдя от Кобы, Кауров еще побыл некоторое время в кухне, побалагурил с Ольгой Евгеньевной, которая крепенькими, с ямочками на локтях руками замешивала на столе тесто. Потом распрощался и, ступив в коридор, кинул взгляд на угловую. Дверь туда была полураскрыта. Колыхающимся пластом поверху выплывал табачный дым. Виден профиль присевшего на койку Кобы. Он углубился в какую-то книгу. Его худощавый, в темной блузе, стан был выпрямлен, склонена лишь голова. В этом наклоне, верней, в сочетании выпрямленности и наклона сквозило произвольное изящество, хотя, казалось бы, такое обозначение совсем не подходило к Сталину. С усатого смуглого лица сошел отпечаток туповатости. Пожалуй, в эту минуту Сталин был красив.

Из детской высунулась носатенькая девочка, хотела, видно, что-то сказать уходившему, но ее внимание тоже привлекла приоткрытая дверь угловой, Надя быстро поднесла палец к губам и замерла, глядя на погруженного в чтение дядю Сосо.

...Два или три дня спустя охранка все же сумела схватить Сталина. Он был арестован на концерте, устроенном большевиками в пользу политических заключенных. И, как известно, сослан на четыре года в Туруханский край на дальнем севере. Расстояние от этих почти незаселенных мест до ближайшей железнодорожной станции составляло две с половиной тысячи километров.

В следующем году началась мировая война. «Правда» была уже закрыта. Депутаты Государственной думы большевики, отказавшиеся стать «оборонцами», угодили под суд, приговоривший их к ссылке на вечное поселение в Восточную Сибирь. Тогда же был взят и Кауров, распространявший написанную Лениным листовку, провозгласившую необходимость «революционной войны пролетариев всех стран». Той же дорожкой, какой прошли немало революционеров, Кауров этапным порядком отправился на три года в ссылку, так и не закончив своего математического факультета.

Февральская революция 1917 года с силой прорвавшейся стихии сбросила в несколько дней веками существовавший царский строй.

Это политическое сотрясение, распространившееся с телеграфной скоростью круговой волной из Петрограда по всей России, застало Каурова в Иркутске солдатом запасного пехотного полка. Алексей Платонович, как и некоторые другие ссыльные, подлежал, согласно какому-то правилу военного времени, призыву в армию, был найден годным, зачислен в рядовые, что, впрочем, не избавило его от особого надзора.

В первые же сутки переворота, даже, пожалуй, в первые часы, едва известие о событиях в Питере достигло иркутских казарм, Кауров оказался одним из вожаков полка. Огромный плац, где запасники обучались шагистике, святости строя, ружейным приемам, перебежкам, стал местом небывалого доселе полкового митинга. Санитарная фура явилась отличным возвышением для ораторов. С такой трибуны выступил и рядовой девятой роты чернобровый, белобрысый Кауров, умевший еще в пятом году произносить напоенные чувством зажигательные речи, вызывавшие знобкую ответную волну. Он, большевик, сразу же обособил себя от полковых ораторов оборонческого толка, твердо и без недомолвок возгласил:

— Долой войну!

Захлопали солдатские ладони, одобрительный зык поглотил какие-то выкрики несогласия. По-прежнему высясь на возке, Кауров, не страшась мороза, стянул свою папаху и на виду у всех обернул алым лоскутом трехцветную царскую кокарду. Затем опять напялил на белесые тонкие волосы эту папаху, уже обновленную, меченную революцией. И сильным голосом, далеко разносившимся в студеном сибирском безветрии, повторил:

— Долой войну!

Далее он бросал, развивал мысли манифеста большевистской партии, написанного еще в четырнадцатом году Лениным, манифеста, из-за которого он, Кауров, пошел в ссылку.

— И уж если придется воевать, — гулко звучал его голосище, — то пусть это будет война трудящихся всех стран против угнетателей всех стран!

Тысячная масса в шинелях опять откликнулась рокотом, хлопками.

Полк избрал Каурова в Совет рабочих и солдатских депутатов. Там по предложению солдатской секции он прошел в члены Исполкома.

И, попирая дисциплинарный армейский устав, не испрашивая хотя бы для видимости у воинского начальства никаких разрешений — революция была высшим разрешением, плечи рабочих и солдат как бы подпирали свой Совет, наделяли его властью, бывший студент, некогда работавший в питерской «Правде», теперь солдат с красной кокардой, забросил, разумеется, строевые занятия и всякие иные обязанности рядового. Каждый день он выступал с речами, а также стал одним из организаторов-соредакторов иркутской социал-демократической газеты.

В Иркутске в те дни, как и в некоторых других городах, создавалась объединенная партийная организация, включившая и большевиков и меньшевиков. Большевики поддерживали дружбу — политика и дружба в такие времена неразделимы, — порой отдельно собирались, но своей

группы или фракции пока не оформляли. Кауров был сторонником обособления. Но письма, которые стали доходить из Питера от русского большевистского центра, не трогали этого вопроса. Чувствовалось, что и не было ясности в вопросе: объединяться ли с меньшевиками? Работая в редакции, Кауров гнул свое, старался так и эдак вынести на страницы газеты резкие взгляды Ленина, еще находившегося за границей, проникавшие в годы войны на отпечатанных в Швейцарии листках тонкой бумаги и в самые отдаленные колонии ссыльных.

Теперь почтовые медлительные поезда доставляли возрожденную питерскую «Правду». Она приходила с берегов Невы в Восточную Сибирь на десятый-двенадцатый день. В одном из номеров был объявлен состав редакции: Каменев, Муранов, Сталин.

Так вот она, первая весточка от Кобы. Ну, теперь держитесь, оборонцы! Хирург Железная Рука с вами не поцеремонится!

Однако в этом же номере «Правды» публиковалась статья Каменева. Кауров, читая, выкатил губу. Какая штука! Каменев писал:

«Не дезорганизация революционной и революционирующейся армии и не бессодержательное «Долой войну!».

Но что же тогда?

«Давление на Временное правительство».

Зачем?

Чтобы «склонить все воюющие страны к немедленному открытию мирных переговоров».

А до тех пор? А теперь?

Воевать! Воевать, «на пулю отвечая пулей и на снаряд снарядом!».

Черт возьми, это же слово в слово проповедь меньшевиков, программа оборонцев. Чего же смотрел Коба? Почему не воспротивился? Где его твердость? Впрочем, может быть, в следующем номере он выступит, скажет настоящее большевистское слово.

Да, назавтра в «Правде» появилась статья «О войне» за подписью «К. Сталин». Но она вовсе ошарашила Каурова. Коба вторил Каменеву: «Прежде всего, несомненно, что голый лозунг «долой войну!» совершенно непригоден как практический путь... Выход — путь давления на Временное правительство с требованием изъявления им своего согласия немедленно открыть мирные переговоры».

По-прежнему тяжел слог Кобы, не дается ему гибкость русской речи. Но это в сторону! Если уж и он принял позицию оборончества, то... То логика приводит к объединению с меньшевиками.

Нс верится, чтобы к этому склонился ненавистник меньшевистской неустойчивости, упрямый Коба. А Ленин? Он в Швейцарии. На листах послереволюционной «Правды» тогда еще не появилась ни одна его строка.

В те дни Кауров был избран одним из делегатов на Всероссийское совещание Советов, открытие которого предстояло 28 марта в Петрограде. Сперва он решил не ехать, не хотел оставлять газету, да и цеплялись, не отпускали прочие бесчисленные горячие дела. Но статья Кобы заставила переменить решение. Что-то неладное творится в партии. Поеду! Окунусь в водоворот Питера. Все там узнаю.

Еще сутки-другие Кауров, хотя уже и опаздывал на совещание, все-таки что-то доделывал,

кому-то передавал неотложные обязанности и наконец, вырвавшись из когтей работы, втиснулся в вагон, покатил на запад. График движения уже постоянно нарушался, из-за этого было потеряно против расписания еще почти двадцать часов.

И лишь в ночь на 4 апреля иркутский солдат с красной кокардой ступил на перрон Петроградского вокзала.

30

Опясавав шинель ремнем, на бляхе которого красовался оттиск прошлого — двуглавый императорский орел, вольно вскинув на одно плечо лямки вещевого мешка, уже за дорогу изрядно освобожденного от продовольственных припасов, Кауров напрямик с вокзала полуночником затопал к месту совещания, в небезызвестный в российской истории Таврический дворец, когда-то выстроенный для фаворита Екатерины Второй, Там в предшествующее революции десятилетие заседала Государственная дума, а в дни февральского переворота туда хлынули делегации рабочих и солдат, вторгаясь без спроса в чинные залы, коридоры, комнаты. Хлынули и уже не отдали дворцовой территории. Думцы, в большинстве сторонники умеренности, хотя и украшенные теперь красными бантами, предпочли выбраться в более спокойную обитель из взбаламученной своей резиденции, а во дворце обосновался Совет рабочих и солдатских депутатов.

Уже надвигался рассвет, когда туда вошел Кауров, предъявивший дежурному свои полномочия, или, как тогда говорилось, мандат. Два-три солдата, то ли из ночного караула, то ли просто в спорах не уснувшие, пришли послушать разговор, вставить словечко. Конечно, Кауров безбожно опоздал. Всероссийское совещание как раз вчера закончилось. И вот еще что он упустил: вечером, всего несколько часов назад, в Петроград приехал Ленин. Прodelал путь через Германию вместе с другими эмигрантами-большевиками в особом, запертом на ключ или, по слухам, запломбированном вагоне. Ух, какая была встреча! Нашелся тут и ее свидетель. Наверное, не меньше ста тысяч человек пришли в колоннах на площадь Финляндского вокзала. Незадачливому делегату Иркутска рассказали и про броневик, который послужил трибуной Ленину, освещенному прожекторами.

— А что он говорил?

Очевидец не стал врать, признался:

— Недослышал.

Но добавил, что броневик, на котором так и стоял Ленин, тронулся к дворцу Кшесинской — бают, там собрались, хотя и ночь, большевики послушать Ленина.

Кауров не удерживал досадливых «эх, эх». Черт побери, не повезло! Он теребил, вертел в руках папаху, почесывал розовевшую на затылке лысинку. Лететь, что ли, во дворец Кшесинской? Нет, куда там! Четвертый час утра!

Его все же утешили: делегаты совещания еще не разъехались, и завтра, то есть, вернее, уже нынче, в двенадцать часов дня в белом, самом большом зале откроется объединенное заседание социал-демократов, соберутся вместе и меньшевики и большевики. К этому-то он еще успел. Однако Кауров опять крякнул:

— Эх...

Ему отвели койку, но сон не приходил. Лишь засветло, под шумки утра, окутала дрема.

Поднялся он все же освеженным, энергичным. Некое бодрящее предчувствие говорило: день будет особенным.

И в самом деле, едва он вошел в столовую, уже гудящую, кто-то окликнул:

— Платоныч!

Он узнал рослого Енукидзе, сейчас тоже представшего в солдатском обмундировании. Тот крепко обнял, расцеловал давнего приятеля. Кауров ощутил: вот старый большевистский Питер, круг подпольщиков принял его в свои объятия. И в ответ горячо чмокнул, стиснул добродушного Авеля-Золотую Рыбку.

Енукидзе сразу и расспрашивал и вываливал новости. Через полчаса на хорах соберутся большевики — участники закрывшегося совещания. Наверняка выступит Ленин. Потом в двенадцать будем заседать вместе с меньшевиками. Повестка дня: объединение. Докладчик от большевиков — Сталин.

— Платоныч, ты с ним не повстречался?

— Еще нет.

— Что ж ты? Он где-то здесь похаживает. Пойдем, я ему преподнесу тебя на блюдечке.

Так и не позавтракав — успеется! — Кауров вслед за своим поводырем устремился в коридор. Енукидзе легко ориентировался в лабиринте кулуаров, порой раскланивался со встречными, но не задерживался, жестикуляцией и живой мимикой как бы сообщая: недосуг! На ходу он рассказал кое-что про Кобу. Сталин в декабре 1916 года тоже был призван в армию, отправлен этапным порядком из туруханской ссылки в Красноярск, где, однако, медицинская комиссия забрала его, не вполне владевшего левой рукой. Он как-то в ссылке сильно простыл, это сказалось и на руке, усугубило порок. Не пригодному к военной службе ссыльному разрешили прожить остаток срока оставалось-то всего несколько месяцев на станции Ачинск. Разумеется, при первом же известии о революции Коба сел в поезд, помчался в Питер. Здесь сразу же включился в работу Русского бюро ЦК, опять, как и прежде, взял в свои руки «Правду».

Авель заглянул в фойе, уставленное диванчиками голубой бархатной обивки, потерявшей былой ворс. Проскользнул, увлекая Каурова, еще в какой-то апартамент — впрочем, это наименование тоже уже стер переверот — и воскликнул:

— Пожалуйста, вот тебе и Коба! Расписку в получении дашь потом.

И улетучился.

Комната была своего рода затишном во дворце, хотя и сквозь нее сновали люди. Сталин и Каменев мерно прохаживались вдоль окон. Золотистая грива, отнюдь, впрочем, не дикая, в меру подрезанная, выделяла большой лоб Каменева, шла его осанке, профессорскому виду. Плотного сложения, с густыми, несколько свислыми усами и неухоженной, однако и незапущенной бородкой, в окаемку которой прокрасалась рыжина, в добротном, обмявшемся по фигуре пиджаке, в светлой, правда, не первой свежести сорочке, в галстук, повязанном хоть и не старательно, но и без небрежности, — Каменев держал в одной руке свое пенсне, снятое с крупного носа, а в другой — исписанный листок; вглядывался в текст близорукими голубыми глазами. Руки были удивительно белы, красивы. Удлиненные пальцы заканчивались пухлыми подушечками. Из-под пиджачного обшлага высунулась подкрахмаленная, не блистающая белизной манжета. Читая, Каменев порой издавал странноватый звук — прищелкивал или как бы цокал языком, будто пробуя нечто на вкус. В молодости живший в Тифлисе, участник революционных марксистских кружков (еще по Тифлису, скажем в скобках, знавшийся с

Кобой), затем литератор-большевик, широко образованный, быстро заработавший репутацию одного из лучших перьев партии, автор и политических статей, и экономических исследований, и книги о Герцене и Чернышевском, Каменев отличался вместе с тем некоей мягкостью характера, умением ладить или, что называется, покладистостью. Войдя в качестве представителя большевиков в Исполнительный комитет Петроградского Совета, он и там был спокойно-обходительным, считался деятелем хотя и левым, но чуждым фанатических крайностей.

Коба, сохранив свою походку горца, легко и твердо ступал по истоптанному, истемненному паркету в ногу с Каменевым. Что-то ему сказал. Каменев кивнул. Свет обширных окон позволял в подробностях разглядеть Сталина. Четыре года Кауров не видел его. Эти годы отпечатались морщинками под миндалевидными впалыми глазами Кобы. Он в это утро казался постаревшим. Нет, у Каурова вдруг возникло другое определение: посеревшим. И кожа рябого лица, и шея, и синеватая косоворотка, и пиджак уже другой, без черных вставок — все выглядело серым. Лишь темнели усы и жесткая щетка волос.

Пришла догадка: сероватый цвет лица — это попросту бледность, след ночных бдений в редакции. А в минувшую ночь Коба, конечно, вряд ли прикорнул хоть на часок. Ездил встречать Ленина, участвовал в закончившемся только к утру сборище во дворце Кшесинской, потом, наверное, заново обдумывал предстоящий ему нынче — всего через два часа — доклад насчет объединения.

Каменев еще вглядывался в листок, Сталин молча вышагивал рядом. Его левая кисть покоилась в кармане.

Кауров, уже слегка растопырив руки для объятия, улыбаясь во весь рот, рванулся к нему.

— Коба, здравствуй!

Ничто не дрогнуло, не изменилось в будто застывшем лице Сталина.

— Чего тебе? Ты же видишь, что я занят.

Никакой эмоции не проблеснуло во взгляде. Кауров остолбенел. Неужели у Кобы после четырех лет разлуки — и каких лет! — не шевельнулось сейчас хоть какое-нибудь теплое чувство? Или, может быть, он просто не узнал Каурова в этом солдатском обличии?

— Коба, ты не узнал меня? Я же Кауров!

— Не мешай, не мешай. Занят.

И два соредатора «Правды» прошли дальше. Огорошенный Алексей Платонович не сразу сдвинулся. Потом сел на подоконник. Каменев и Сталин, продолжая ходить, опять шли мимо. Но тут Коба приостановился:

— Того, иди наверх в комнату фракции. Ежели еще есть места на стульях, занимай и для меня.

Каменев вздел на нос пенсне, оглядел солдата. Однако Сталин счел необязательным как-либо их познакомить. Кауров узнавал прежнюю его манеру: ни лишних слов, ни лишних жестов. Обида испарилась. Он опять готов был обнять Кобу. Но тот будто оставался бесчувственным. И с холодноватой деловитостью напутствовал:

— Только имей в виду, в передние ряды не сяду. Не люблю. Лучше постоим где-нибудь сзади.

...Свободных стульев в большой овальной комнате на хорах, принадлежавших большевикам,

действительно уже не оказалось. Многим пришлось стоять. Кауров поджидал Кобу у дверей. Войдя, тот не стал никуда протискиваться, остановился рядом с Того, прислонился узким покатым плечом к косяку. Место было незавидным. Взгляд низенького Кобы упирался в спины стоявших впереди. Сквозь раскрытую дверь еще и еще проходили участники собрания, тесно заполняя комнату. Коба преспокойно сносил эти неудобства.

Длинный Кауров с интересом оглядывал помещение, обнаруживал знакомых, здоровался улыбкой, помахиванием руки.

Ленин сидел за небольшим столиком и то склонялся над грудой газет, наверное, уже многодневной давности (второго, третьего и четвертого апреля газеты по случаю пасхальных праздников не выходили), шуршал листами — тогда к аудитории была обращена будто полированная, отсвечивающая округлость его лысины, то оставлял это занятие, поглядывал на собравшихся, щуря левый глаз.

На стульях у полукруглой стены лицом к залу разместились те, кого уже обозначили собирательным именем «швейцарцы», они вместе с Лениным выехали из Швейцарии в Россию и вчера добрались в Питер.

Виден и неброский, чуть отечный бледноватый профиль Крупской. Наверное, утомлена и счастлива.

31

Собрание открыл Зиновьев.

Для своих тридцати трех лет он был излишне рыхловат, не принадлежал в Швейцарии к любителям пешеходных или велосипедных прогулок, нажил жирок, отложившийся и на щеках и на подбородке, которые успел с утра побрить. Пожалуй, лишь черные, в путанице мелких витков волосы надо лбом как-то внешне выявляли темпераментную его натуру. Голос оказался неожиданно тонким, почти женским:

— Товарищи, в повестке дня у нас два пункта: доклад товарища Ленина и затем вопрос относительно объединения.

Ленин энергично вздернул голову.

— Два? Гм... Спрессуются в один.

Это явно ироничное замечание о повестке дня стало как бы мимолетной прелюдией к докладу.

Кауров покосился на Кобу, на крупные, величиной с ноготь мизинца оспины, будто забрызганные пигментными крапинками, теперь, весной, рыжими. Резко очерченное худощавое лицо по-прежнему ничего не выражало, казалось сонливым.

Встав, Ленин пригладил окружавшие лысину волосы, сзади чуть курчавые. У него давно установился обычай тщательно приводить в порядок свою внешность перед решительным часом. Безукоризненно блестят тупоносые ботинки, собственноручно поутру вычищенные щеткой и бархоткой, что среди прочих наинужнейших вещей сопровождали его из Швейцарии. Синеватый галстук затянут аккуратным узлом. Скрытая под галстуком цепочка, соединяющая две запонки, туго стягивает края белого воротничка.

Еще раз огладив голову, вынув из бокового кармана, развернув четвертушку бумаги, Владимир Ильич начал доклад:

— Я наметил несколько тезисов, которые снабжу необходимыми комментариями.

Вероятно, лишь Надежда Константиновна да еще два-три самых близких друга смогли заметить некую необычную для Ленина особенность этого простого вступительного предложения. Он не любил словечка «я», избегал «якать», тем более в публичных выступлениях. А тут вынужден был произнести «я». Крупская знала: еще никто не заявил о своем согласии с тезисами Ильича. Никто. Только она. Зиновьев, поработавший немало лет бок о бок с Лениным, предпочел пока не определять своей позиции. «Не успели столкнуться», мельком вчера объяснил он Крупской. Надежда Константиновна его не осудила, понимала: иные строки, что записаны на этой четвертушке мелким, наклонным, будто бегущим почерком Ленина, ошеломляют. Скоро он к ним перейдет.

Сейчас он говорит о войне. В какую-то фразу вставляет:

— Предлагая эти тезисы только от своего имени...

Листок уже брошен на газету, обе руки вдвинуты в карманы голова несколько наклонена, выделяются угловатые скулы, кряжистый Ильич выглядит угрюмым. Речь быстра:

— Война и при новом правительстве, которое является империалистическим, осталась по-прежнему разбойничьей, а посему для нас, кто верен долгу социалиста, верен международной пролетарской солидарности, недопустимы ни малейшие уступки оборончеству.

Фраза Ленина разветвлена, нелегко поддается записи, предложения втискиваются одно в другое, словно бы в стремлении сразу охватить многие стороны предмета. Сформулировав тезис, он принимается вдабливать свою мысль. Тут приходит на помощь и рука — широкая, короткопалая, плебейская. Он впрямь будто что-то вбивает кулаком, оттопырив большой палец.

На месте ему не стоит. Это у него давнее обыкновение: шагать, произнося речь. Нет, он не похаживает, а время от времени то ступает вспять, то круто возвращается к столу. Так ходит поршень паровоза. У стены позади стола были сложены одна на другую несколько деревянных скамеек. Пятясь, Ленин иной раз наталкивался на этот штабелек и удивленно туда взглядывал. Однако минуту-две спустя опять стучался об углы скамеек и снова оглядывался.

— Даже наши большевики обнаруживают доверчивость к правительству. Такая точка зрения — гибель социализма.

Тут в дверях появился Каменев. На него оглянулись. Учтивый, осанистый, он, на ходу извиняясь, протолкался вперед, заметил единственный свободный стул, на котором ранее сидел Ленин, жестом попросил у него разрешения сюда сесть и мягко улыбаясь, уселся.

Ленин продолжал, речь не утратила стремительности:

— Если вы, товарищи, доверчиво относитесь к правительству, значит, нам не по пути. Лучше остануться в меньшинстве, остануться даже один.

Впервые он здесь проговорил «остануться один». Однако угрюмость уже с него слетела. Голова поднята, он плотно сбитым корпусом подался к слушающим, маленькие глаза поблескивают, один слегка прищурен, что придает Ильичу вид хитреца. Странно: режет, рубит напрямик, не смягчает резкие слов никакими околичностями, а глаза хитры.

— Лучше останусь в одиночестве, подобно Карлу Либкнехту, который выступил один против ста десяти оборонцев социал-демократической фракции рейхстага.

Далее Ленин переходит к оценке статей «Правды». Жест снова изменяется. Правую руку он то и дело выбрасывает перед собой, будто всаживая в кого-то невидимое острие.

— «Правда» требует от правительства, чтобы оно отказалось от аннексий, от империалистических целей войны. Предъявлять такие требования правительству капиталистов — чепуха, вопиющая издевка над марксизмом. С точки зрения научной, это такая тьма обмана, которую весь международный пролетариат, вся грядущая всемирная рабочая революция и уже складывающийся новый революционный Интернационал заклеят как измену социализму.

И опять Ленин вытолкнул вперед правую руку.

Кауров боковым зрением заметил: бровь Сталина чуть поднялась и, всползшая, застыла. Да, это были камни в сторону Кобы.

Казалось, Ильич, подаваясь вспять, снова ушибется об грудь скамеек. Нет, оратор — поршень круто возвратился:

— Ссылаются на Циммервальд и Кинталь...

Ленин вновь целил в редакторов «Правды», в одну из статей Кобы, признававшую «всю правильность и плодотворность положений Циммервальда-Кинталя».

— У нас еще не знают, что циммервальдское большинство с самого начала склонилось к позиции Каутского и компании. Циммервальд и Кинталь — эти колебания, нерешительность в вопросе, который теперь является всеопределяющим, то есть в вопросе о полном разрыве с теми, кто под флагом социал-шовинизма, защиты отечества изменил Интернационалу.

Кауров догадывался, как жестоко уязвлено в эти минуты самолюбие Сталина. Когда-то много лет назад, он, молодой Коба, после критических суждений, вовсе не грубых, о его рукописи скомкал, пихнул ее в карман, ушел.

А ныне... Вот черная бровь опустилась. Смуглое изрытое лицо вновь стало будто сонливым.

32

— Перехожу к следующему моему тезису, который охватывает вставшую перед нами не только теоретически, но и насущно практически, самую острую, главную проблему революции. Дело идет о государстве, о власти.

Снова взяв исписанную четвертушку, Ленин огласил строки: «Республика Советов рабочих, батрацких и крестьянских депутатов по всей стране, снизу доверху. Устранение полиции, армии, чиновничества».

На какие-то мгновения он приостановился, словно для того, чтобы дать время собравшимся воспринять прочитанное.

Осмотрел комнату. Конечно, этот тезис огорошил. Как так: государство без полиции, без армии, без чиновничества? Какое же, собственно, это государство?

— Да, никакой полиции, никакой армии, никакого чиновничества! Но мы не анархисты, мы сторонники государства в переходный к бесклассовому обществу период. Чем же мы заменим машину угнетения, созданную теми, кто господствовал, властвовал над народом? Ответ уже дан историей рабочего движения, созидательной энергией масс, дан прежде всего Парижской Коммуной. Действительная суть Коммуны, как это превосходно анализировали, выяснили Маркс и Энгельс, состояла в том, что она явила собою новый тип государства. Чиновничество, бюрократия заменяются непосредственной властью вооруженного народа. Наши Советы 1905 и 1917 годов — прямое продолжение революционного творчества Парижской Коммуны. За Советы мы все ухватились, но не поняли их, не поняли, что только они могут стать и станут единственным правительством. Их опорой будет вооруженная пролетарская милиция, объединяющая поголовно при соблюдении известной очередности, меру, форму, практичность такого распорядка отыщет жизнь, опыт масс, объединяющая поголовно мужское и женское трудящееся население, которое предстанет как непосредственная власть, как прямая власть народа.

Ленин, что называется, всю разошелся. Речь звучала увлеченней. Иностраных выражений стало меньше, он легко заменял их русскими, легко находил синонимы, как бы стремясь полнее, точнее передать оттенки. И жест переменялся: сложенные щепотью пальцы будто что-то держали, поворачивали. Оратору, видимо, нравилась его последняя формулировка. Он повторил:

— Прямая власть народа!

Оба больших пальца, оттопырившись, полезли в проймы жилета. Приняв такую позу, то откидывая корпус, то опять подаваясь вперед, Ленин с явным удовольствием, с запалом продолжал трактовать проблему государства.

Теперь Ленин говорил без жестов. Мысль, которую он хотел передать, внушить аудитории, всецело завладела им. Лицо едва уловимо изменилось. Пристально глядевший на Ленина Кауров не сразу смог определить, в чем же проявилась эта перемена. Но вдруг сообразил: глаза! Глаза, хотя и ушедшие вглубь, сильно засверкали, в них выразилась крайняя сосредоточенность, что-то удивительно настойчивое. Это была видимая всем интенсивная, воздействующая почти гипнотически работа его мысли. Вместе с тем он всматривался не в слушателей, а точно в некую блистающую точку, что его самого гипнотизировала. Необыкновенная жизнь глаз Ленина-оратора притягивала (или, как позже сказал один из его друзей, привинчивала) внимание к смыслу речи.

— Законы важны не тем, что они записаны на бумаге. Важно, кто их проводит. Если напишете самые идеальные законы, кто их будет проводить? Те же чиновники. Лишь когда Совет рабочих депутатов возьмет власть, дело революции будет обеспечено.

Опять в руке Ленина четвертушка бумаги — его тезисы. Он прочитывает еще несколько строк:

— Партийные задачи: 1) немедленный съезд партии; 2) перемена программы партии, главное: а) об империализме и империалистической войне, б) об отношении к государству и наше требование «государства-коммуны». То есть такого государства, прообраз которого дала Парижская Коммуна.

Далее он снова выдвигает требование решительного, полного разрыва и с социал-шовинистами и с «центром», получившим преобладание в Циммервальде и Кинтале. И опять он, выбросив перед собой кулак, наносит удар по редакции «Правды»:

— Нам проповедуют примирение, соглашение с центром. Вы должны выбрать: или революционный новый Интернационал, или болото предательства.

Кауров опять покосился на стоявшего чуть позади Кобу. Тот не переменял своей спокойной позы, привалился, как и раньше, плечом к дверному брусу. Лицо оставалось безучастным, даже не вздернулась и бровь. Лишь радужница глаз, полузакрытых как бы сонно опустившимися веками, стала совсем желтой, цвета столовой горчицы. Мелькнула мысль: не сыграло ли тут шутку отражение бликов солнца со сводчатого, в позолоте, потолка? Нет, верней было другое: столь густая прожелть немо выказала крайнюю степень раздражения.

Продолжая речь, Ленин вновь упомянул, что выступает только от своего имени:

— Лично от себя — предлагаю переменить название партии, назвать Коммунистической партией. Название «коммунистическая» народ поймет. Большинство социал-демократов изменили, предали социализм. Не цепляйтесь за старое слово, которое насквозь прогнило. Вы боитесь изменить старым воспоминаниям. Но чтобы переменить белье, надо снять грязную рубашку и надеть чистую.

Кауров опять краешком глаза глянул на Кобу. Теперь взор Сталина был обращен вниз, не виден, голова, словно в дремоте, свешена, руки покоились на животе.

— Хотите строить новую партию? — стремительно вопрошал Ленин. — Тогда угнетенные всего мира к вам придут. Массы должны разобраться, что социализм раскололся во всем мире. Оборонцы отrekliсь от социализма. Либкнехт выступал одиночкой. Но вся будущность за ним.

У двери, расположенной позади столика, возле которого стоял говоривший Ленин, происходило тем временем какое-то движение. Кто-то склонился к уху Зиновьева, что-то ему сообщил. Дело было в том, что в большой зал уже сходились делегаты-меньшевики для участия в объединительном — совместно с большевиками — заседании, где, в частности, предстоял и доклад Сталина. Теперь снизу пришли с предложением или просьбой: пусть Ленин тотчас перед социал-демократами всех фракций повторит свою речь. Зиновьев быстро настроил записку. Сидевший рядом Каменев, чувствовалось, не терял благодушия под ударами оратора, разносившего позицию редакторов «Правды», и лишь при особенных резкостях, вырывавшихся у Ленина, неодобрительно морщился. Иной раз усмешка шевелила золотистые усы. Он прочел бумажку, передал Владимиру Ильичу и спокойно на него воззрился, поигрывая снятым пенсне. Ленин взглянул на записку, повернул голову к Каменеву. В этом ракурсе завиднелся скульный бугор и острый кончик брови, что была похожа на сорванный, обильный остью, густой колос. словно боднув кого-то этим кончиком, Ленин опять слегка наклонил корпус к аудитории:

— Я слышу, что в России идет объединительная тенденция, объединение с оборонцами. И вновь саданул: Это предательство социализма.

Опять под конец речи он вынужден был произносить «я»:

— Я думаю, что если вы на это пойдете, лучше остаться одному.

Суровая складка обозначила сомкнувшиеся его губы. Доклад закончился. Ильич пошел к ряду стульев, где сидела Крупская.

В комнате зашевелились, поднимаясь с мест. Зиновьев стучал по столу, давая знать, что собрание не закрыто.

Коба придвинулся к Каурову и сквозь немного скошенные внутрь зубы выговорил на грузинском языке:

— И останется один!

Помолчав, увидев в каком-то между спин просвете Ленина, подошедшего к Крупской, добавил опять же по-грузински:

— Один! Или вдвоем со своей бабой!

Затем сказал по-русски:

— Приходи ко мне вечером в «Правду». Приходи попозже, часов в одиннадцать, когда в редакции не будет толкотни. Уединимся, побеседуем.

И, добыв из кармана трубку, не ожидая каких-либо последующих выступлений, не обратив на себя ничьего внимания, проскользнул в дверь.

33

Поздним вечером, как было условлено, Кауров разыскал редакцию «Правды», обосновавшуюся теперь на Мойке вблизи Невского во втором этаже большого дома, где в начальные же дни революции большевики завладели типографией, принадлежавшей «Сельскому вестнику».

Дверь в редакцию была приотворена, оттуда слышался стрекот пишущей машинки. Миновав машинистку, ни о чем не спросившую вошедшего солдата, Кауров толкнул дверь в следующую комнату и сразу же увидел за письменным столом знакомое усатое лицо. Коба приветливо сощурился, приподняв нижние веки. Эта игра век свидетельствовала, по старой памяти догадался Кауров, что дневной приступ раздражительности сменился самочувствием, о каком сказано: в своей тарелке. Щеки и сильный подбородок за день подернулись черноватой порослью, не тронувшей щербин. Из небрежно расстегнутого воротника рубашки проступали кадычные хрящи.

На столе простерся корректурный, с большими полями, исчерканный пером оттиск завтрашней газеты. К ночному посетителю повернула голову стоявшая возле стола коренастого сложения женщина лет сорока, в светлой блузке, повязанной по-мужски галстуком. Что-то знакомое почудилось Каурову в широко расставленных, несколько косога разреза карих глазах, в приметно выступающих скулах, в славянски круглом коротковатом носе, в густых, с длинными остинками бровях. Однако ничего определенного в уме не всплыло.

— Того, садись, — вымолвил Сталин. — Сейчас закончу. И обратился к женщине: — Хватит рассусоливать. — Интонация стала жесткой, хотя он не повысил голоса. Как я исправил, так и сделать.

— Но это же...

— Повторяю: хватит! — по-прежнему негромко перебил Сталин. Не намерен, товарищ Ульянова, с вами дальше пустословить.

Так вот это кто! Секретарь «Правды» — младшая сестра Владимира Ильича. Да, в чертах много сходства. Ее губы обиженно сжались.

— Поезжайте-ка домой, продолжал Коба. — Примите на ночь валерианки, чтобы успокоить нервы. Управляюсь как-нибудь без вас.

Мария Ильинична рывком взяла со стола корректурный лист, скулы вспыхнули, она без слов

быстро пошла из комнаты, выставив вперед левое плечо, этим тоже напомнив характерную манеру Ленина. За ней хлопнула дверь.

— Норовец такой же самый, прокомментировал Коба, не сочтя нужным пояснить, кого с ней сравнивают. — Обомнется, ничего. На упрямых воду возят. — Он усмехнулся: — Кряхти да гнишь, упрешься — переломишься.

Кауров мысленно отметил эти новые в лексиконе Сталина русские простонародные речения и поговорки, явно усвоенные в трехлетие последней сибирской его ссылки.

Помолчали.

— Такая штука! — с улыбкой молвил Коба, оглядывая Каурова, уже снявшего папаху, обнажившего лобные взлизы, что еще удлинляли продолговатую розовощеку физиономию.

Опять потянулось молчание. Сталин не спешил начинать разговор. Он достал из кармана короткую обкуренную трубку, выколотил о каблук стоптанного башмака прямо себе под ноги, где и без того серел втоптаный в половицы пепел, набил темным дешевым табаком, вдавил табак концом большого пальца, будто подгоревшим, коричневатым, сунул гнутый покусанный мундштук под усы. Впрочем, глагол «сунуть», пожалуй, ассоциируется с быстротой. Коба же, держа трубку в левом кулаке, не согнул руку попросту в локте, а сделал всей рукой круговое движение, включив в помощь и плечо, то есть как бы занес чубук с противоположной стороны. На памяти Каурова эта рука гораздо живей действовала. Сталин поймал сочувственный взгляд друга, проговорил:

— Что-то со вчерашнего дня опять она попортилась.

— Тебе, Коба, надо бы полечить руку в Эссентуках. Там есть чудо-грязи.

— Революция не дает отпуска. Сталин зажег спичку, прикурил, выпустил дым изо рта и из ноздрей. Затем подвигал локтевым суставом попорченной руки. Разработается... Курить не бросил? Так угощайся папиросами.

— Да у меня свои.

— Э, мы с тобой стали забывать грузинские традиции. Хоть чем-нибудь, а друга потчуй.

Коба выдвинул ящик, извлек коробку папирос, метнул Каурову. И опять пожмурился, выказывая расположение.

Кауров взял папиросу, задымил.

— Теперь, Того, вываливай впечатления. Что насчет Старика скажешь?

— Коба, а где ты был, когда он второй раз выступал? Я уж во все стороны глядел, а тебя так и не увидел.

Сталин, однако, как и в прежние времена, пресек любопытство собеседника:

— Не важно, был, не был. Не обо мне толк. И повторил: Что о Старике скажешь?

Каурову пришлось совершить усилие, чтобы наперекор чему-то давящему, исходившему от Кобы, ответить без уклончивости:

— Меня, какая штука, он убедил.

Эх, прокралась все-таки «какая штука».

— Почти убедил?

Черт возьми, этот нелегкий собеседник, знававший, казалось, лишь топорно обтесанную, лаконичную речь, тонко схватывал психологические нюансы. Кауров признался:

— Почти.

— Другой коленкор.

Сталин поднялся и, покуривая, принялся ходить. Это было своего рода молчаливым приглашением: выговаривайся, послушаю.

34

...Выступая в этот же день вторично со своими тезисами — теперь в большом, что звался белым, зале, где собрались и меньшевики и большевики, Ленин построил свое слово иначе, чем перед однопартийцами в тесноватой комнате на хорах. Там, на верхотуре, ему был дан только один час. Он лишь как бы выкинул свой флаг, изложил череду мыслей, набегавших одна на другую, составивших цельную программу, с которой и ради которой прорвался сюда, в революционный Петроград, неслыханно новую для всех, объявленную до ультимативности твердо, поневоле сжатую и из-за этого, быть может, особо удивлявшую.

В белом же зале он говорил два часа. Его появление на трибуне, позади которой над столом президиума зияла пустотой золоченая рама — в ней еще недавно обретался портрет императора, не вызвало хлопков. Вместе со всем залом настороженно затих и левый сектор — пристанище большевиков. Ленин быстрым и, как воспринял Кауров, угрюмо непреклонным движением провел вправо-влево по рыжим усам и опять начал с заявления, что выступает лишь от своего имени.

Вновь оглашал тезисы, гвоздил и гвоздил. Теперь аргументация стала более развернутой. И, хотя Ленин обращался ко всей аудитории, в которой преобладали делегаты-меньшевики, — военная форма была и для многих среди них печатью времени, — Кауров не мог избавиться от ощущения, что вновь запламеневшие узкие глаза оратора и сама быстрая речь как бы выделяют, имеют в виду тех, кто уже выслушал слово на хорах.

Не заглаживая колюще острых углов своей программы, выпаливая резкости, Ленин вместе с тем обстоятельно разбирал темы, на которые и для Каурова еще требовался ответ. Нет, это не касалось вопросов о войне, об интернациональном долге пролетарского революционера, о разрыве с любыми течениями, допускающими хотя бы на капельку — этакое «на капельку» Ленин дважды или трижды употребил в разных местах речи, допускающими оборончество в империалистической войне. Непримируемость Ленина к болоту, или так называемому центру, к краснобаям, прикрывающим революционными руладами собственную бесхребетность, тоже пришлась по душе Каурову. «Святая простота» — этим известным выражением Ильич когда-то определил его, пленившегося Эмилем Вандервельде, тоже мастаком фразы, в дальнейшем, в первые же дни войны, сбросившим покров интернационализма. Ныне-то он, Кауров — по крайней мере, так ему казалось, — перестал быть простаком, способным клюнуть на приманку фальшивого словца. И был всецело солидарен с Лениным: не верить ни на капельку трубадурам соглашательства, соловьям половинчатости, рассыпающим ну совсем-совсем революционную трель.

Но другая проблема — наиважнейшая, центральная, как упирал Ленин представлялась Каурову неясной, тут после собрания на хорах в его мысли вторглась смута. Да, бесспорно,

центральная, в этом нет сомнения: государство, власть... Однако не выдумка ли, не плод ли умозрения, книжности провозвещаемое Лениным государство-коммуна?

В какую-то минуту стремнина речи добирается сюда. Теперь у Ленина есть время, чтобы основательнее охарактеризовать воззрения Маркса и Энгельса на сей предмет. Он наизусть приводит их высказывания, забытые, затерянные, не цитируемые пропагандистами и теоретиками социал-демократии. Уже выйдя из-за кафедры, сунув пальцы в жилетные кармашки, то откидываясь с носков на каблуки, то опять подаваясь корпусом вперед, он с явной охотой исполняет эту миссию марксиста-просветителя.

Но самые весомые доводы он еще приберегал. Подошла их очередь:

— Если вы полагаете, что рабочее государство сфантазировано, то не угодно ли вам, товарищи делегаты Всероссийского совещания Советов, оглянуться на самих себя? Кто сочинил, кто выдумал Советы? Они рождены жизнью, рождены революцией. Нет реальной силы, которая могла бы их распустить. Они, по сути дела, власть. — Ленин выбросил перед собой обе ладони, как бы подавая, показывая свое утверждение. — Власть или, вернее, из-за присущей соглашателям нерешительности, уступчивости — полувласть. Поскольку эта полувласть существует, постольку в России уже создано на деле, хотя и в слабой зачаточной форме, новое государство типа Парижской Коммуны. Разве оно кем-нибудь придумано? Оно живет рядом с правительством капиталистов.

Некая часть сомнений Каурова рассеялась, Ленин перетаскивал и его на свою сторону. И все же бывший студент-математик, солдат сибирского полка, мог перечислить еще ряд недоумений. Отказаться от демократической республики? Издавна Кауров привык к мысли, что большевики — самые крайние, самые последовательные демократы. Ленин подошел и к этому:

— История возложила на международное пролетарское движение задачу вести человечество к отмиранию всякого государства.

Чудилось, его картавость вносит какую-то теплоту жизни, нечто близко ощутимое в слова: международное пролетарское... Нет, дело, конечно, не в картавости. Ленин даже интонацией выражал ставшее для него естественным и неотделимым от духовной его личности исповедание того, что пролетарии всех стран составляют общность более тесную, более высокую, чем общность нации. Здесь в Таврическом дворце Кауров схватил слухом и глазом этакое естество Ильича, испытал прелесть проникновения. И сразу же доводы Ленина о необычайном государстве, сперва показавшиеся утопистикой, чуть ли не дичью, сделались ближе.

— Социалистическая революция, эра которой началась, обретает смысл лишь в уничтожении государства, — опять устремив сверкавшие зрачки в неведомую гипнотическую точку, с силой долбил Ленин. Путь к этому пролегает через власть Советов. Заявляю без колебаний, что деятельность пролетарской партии стала бы бессмысленной, партия революционного Интернационала изменила бы себе, если не держаться такой перспективы, такой нити.

Он убеждал своей убежденностью. Порою с мест, занимаемых меньшевиками, доносились иронические возгласы, кто-то во всеуслышание пустил оттуда язвительно — бред, но Ленин не позволял себя отвлечь, прорубался по собственной наметке. Большевики внимали молча. А он все разбирал, рассматривал грядущую власть пролетариата, прощупывал, выявлял ее упоры. Лексикон был изобилен, низвергались во множестве определения, эпитеты, уподобления, видимо, уже найденные раньше в неотступном думании. И опять наряду с логикой воздействовало и что-то личное: крепчайшая вера в неоспоримость истин, которые он излагал. Чувствовалось, он с личной ненавистью отвергал систему бюрократического управления:

— Надо отбросить закоренелые глупейшие чиновничьи предрассудки, тупую казенщину навыков канцелярской России, реакционно-профессорские измышления о необходимости бюрократизма.

Далее он и тут развил предупреждение Маркса об опасностях, грозящих изнутри государству-коммуне, о возможности превращения рабочих делегатов и должностных лиц из слуг общества в его господ, и опять-таки по Марксу перечислил меры, которые безотказно предотвратят такую возможность.

— Трудно? — спросил он, наклоняясь к аудитории. — Да! Но трудное не есть невозможное.

Эти вот слова — трудное не есть невозможное — и оказались почему-то последней гирькой, которая перетянула Каурова к ленинским тезисам. Правда, мысли еще не уложились, оставались взвихренными, взбаламученными, еще следовало думать и думать, но Кауров был уже радостно готов, как и в пронесшиеся годы, меченные Вторым съездом, революционным штурмом, поражением, новым подъемом, мировой войной, определиться в качестве ленинца.

В зале на меньшевистской стороне возник гул, когда Ленин подошел к своему заключительному тезису, предложил сбросить грязное белье, отказаться от измаранного наименования — социал-демократическая партия — и возродить старое, славное, научно точное звание: коммунисты.

Пережидая шум, прищурясь и вновь обретя вид хитреца, он некоторое время смотрел на своих противников. Затем, так и не откликнувшись на выкрики, сказал еще об одной задаче: создать революционный Интернационал против социал-патриотов, а также и против тех, кто отказывается с ними рвать. На этом он без какой-либо звонкой концовки завершил речь, поставил точку...

— Впрочем, Коба, не точку, а... А сделал обеими руками округляющий жест, вот этак, и будто опустил некий круглый кувшин или вазу на край пюпитра. Понимаешь?

— Понимаю. Поставил, значит, на край вазу. Что же от нее в тряске останется?

— Ты уже толкуешь символически.

— Хо, попал и в символисты. Ладно, давай дальше впечатления.

— Да ты информирован без меня.

— О твоих впечатлениях? Гони, Того, гони.

— Понимаешь, если брать все в целом... Я вот и сам хочу определить: в чем же смысл появления Ленина, его приезда? И нахожу ответ: он сказал такое... Повторяю, если брать все в целом... Такое, чего никто, кроме него, ни один человек на земном шаре не сказал бы.

— Не философствуй. А то, кажись, ударишься в теорию героя и толпы. Говори дельно. Что же там было после его доклада?

Кауров начал характеризовать прения, тоже в своем роде примечательные, но в комнату вдруг вторгся Каменев, держа в белой руке исписанные длинные листки.

Пиджак вошедшего был расстегнут, волны русой шевелюры несколько разметаны.

— Трам-бом-бом-бом! — бравурно, в темпе марша пропел он, взмахивая листками. Только что закончил. С пылу с жару!

Его выпуклые голубые глаза скользнули сквозь пенсне по остроносому лицу солдата, которого он сегодня видел возле Кобы.

Коба перестал ходить.

— Ничего. Это мой друг, — проговорил он. — Член партии. Работал в «Правде». Нам он не помешает. — И, не тратя более слов, назвал фамилии обоих:

— Каменев. Кауров.

Каменев со свойственной ему рассеянно-благодушной улыбкой поклонился, затем кинул листки на стол:

— Коба, прочитайте. Кажется, удалось обосновать взгляд нашей редакции.

— Нашей партии, — поправил Сталин.

— Совершенно верно. Взгляд партии в противоположность схеме Ленина.

Сталин без улыбки проронил:

— Ленина-Ламанчского?

Каменев живо взбросил голову, приоткрыл толстые губы, поцокал языком, как бы нечто дегустируя.

— Ламанчского? Это метко! — Он раскатисто, жизнелюбиво засмеялся. — Метко! Хитроумный гидальго Дон Кихот Ламанчский. Как раз тютелька в тютельку.

Похлопав длинными пальцами по красивому выпуклому лбу, он вслух припомнил строчки «Дон Кихота»:

— Наш гидальго отличался крепким сложением, был худощав, любил вставать спозаранку и увлекался ружейной охотой. Его возраст приближался к пятидесяти годам. Каменев снова поцокал. — Кажется, не вру. Все совпадает. — И, вспоминая, продолжал: Отдаваясь чтению рыцарских старинных романов, бедный кабальеро ломал себе голову над туманными оборотами речи и изводил себя бессонницей, силясь их понять, хотя сам Аристотель, если бы нарочно для этого воскрес, не распутал бы их... И однажды наш благородный герой взялся за чистку принадлежавших его предкам доспехов. Произвел и разные другие, необходимые рыцарю, приготовления. Совершив эту подготовку, почтенный Дон Кихот решил тотчас осуществить свой замысел, ибо он полагал, что всякое промедление с его стороны может пагубно отразиться на судьбах человеческого рода.

— Завидная у вас память, Лев Борисович, — проговорил Сталин.

— Однако пальма первенства в данном случае принадлежит, милейший, вам.

— Что я? Читал в школьные годы «Дон Кихота». Детское сокращенное издание. Теперь, пожалуй, придется вновь взять эту книгу.

— Всенепременнейше. И полный текст... Да-с, объявился современный Дон Кихот. Не на тощем Росинанте, а на броневике. И ходит в котелке взамен медного таза. Впрочем, кажется, уже раздобыл кепку. Да-с, а вместо копья перст указующий. Каменев комически изобразил

выпад руки Ленина и, неожиданно вздохнув, произнес какое-то изречение по-латыни. Тут же перевел: — Если бы обрушилась, распавшись, твердь небесная, засыпавшие его обломки не наведут на него страха. Это из Горация... Но вот, Коба, интересно: почему у Старика был такой хитрющий вид?

— Почему? — переспросил Сталин. — Вы, Лев Борисович, мало бывали на толкучих рынках. Глядишь, человек называет цену. А глаза хитрые. Скостит, уступит. В Тифлисе я умел торговаться даже и с армянами. Удавалось сбить запрос.

— Революции всегда запрашивают много, — раздумчиво проговорил Каменев. — Маркс писал об этом.

— Ладно. Займемся делом.

Коба сел за стол, придвинул рукопись Каменева, углубился в чтение. Достал, не глядя, из кармана свою трубку, привычно выколотил о каблук, положил перед собой.

Вот листки и прочитаны. Коба не спеша набил трубку табаком, скупо обронил:

— Увесисто. Не имею возражений. Но кое-что я бы добавил.

— Ну-с, ну-с...

— В чем, по Ламанчскому, ныне главная задача? Разъяснять, дискутировать, пропагандировать. Нет, мы не группа пропагандистов-коммунистов, не кружок интеллигентов, искателей истины, а партия революционных масс, которая, если мы не будем дураками... Ну, это уже не для статьи.

Четыре года назад на квартире Аллилуевых Сталин почти в такой же формулировке выложил Каурову подобный тезис. Сейчас подумалось: упрямя!

Каменев охотно принял добавления Кобы.

— Превосходно ляжет. Еще пошлифую стиль. Пустим как редакционную?

Левой рукой, опять кружным путем, в обнос усов. Коба сунул трубку в правый угол рта, зажег спичку, раскурил, устремив не выражающий ничего взгляд на язычок пламени, то совсем втягивающийся внутрь чубука, то вдруг выпыхивавший.

— Лучше, Лев Борисович, дадим за вашей подписью. А во избежание кривотолков вставьте, что редакция «Правды» и бюро ЦК не разделяют тезисов Ленина. Это будет, по-моему, самое целесообразное. Вы не против?

Умная усмешка мелькнула под стеклами пенсне.

— Пожалуйста. На ваше, милейший, благоусмотрение. Это «милейший» гармонировало с некой барственностью Каменева. Он опять молодежато пропел: — Трам-бом-бом-бом! Пойду отделявать.

— Садитесь. Вам здесь удобнее поработать. — Сталин поднялся, освобождая стул. — А мы с товарищем Кауровым отыщем себе место.

Неожиданно Каменев сбросил пиджак, остался в жилетке и белой сорочке со съехавшим чуть набок темным галстуком. Округлость плеч и заметное брюшко свидетельствовали, что и в бурях, в трепке он не спадал в теле. Подтянув крахмально твердые манжеты, он воскликнул:

— Драться так драться!

Узенькая комната, куда перешли Сталин с Кауровым, была будто совсем необитаемой. Не было ни стола, ни стула, ни этажерки или шкафа. Лишь у окна приткнулся диван, обитый черной клеенкой, которую кое-где продырявили вылезшие на белый свет пружины. Свет действительно был резко-белым: сильная лампочка, не прикрытая каким-либо абажуром, попросту свешивалась на шнурке с потолка. Вколоченные в стену крупные гвозди служили вешалкой; на одном висела солдатская шинель, на другом — фуражка без кокарды. На полу у дивана пятнами серел втоптаный пепел.

— Мое ночное логово, произнес Сталин. Случается, застряну — есть где растянуться.

Словно проделывая гимнастическое упражнение, он раскинул на уровне плеч руки, несколько раз согнул и разогнул локтевые суставы. Левая по-прежнему сгибалась лишь наполовину. Коба заставил себя еще и еще поупражняться.

— Открыл бы форточку. Прокурено, — сказал Кауров.

— Ерунда. Сойдет.

Яркое, падающее сверху освещение сделало рельефной, подчеркнуло тенью продольную складочку на тяжелых верхних веках. Прежде, сколь помнил Кауров, такой складки не было. Годы проложили две дорожки и на лбу — две морщины-закорючки, витками взброшенные над переносицей.

Коба кивком указал на диван:

— Располагайся.

Он почему-то заговорил по-грузински, как бы внося этим особо доверительную ноту. Усевшись, Кауров тоже перешел на грузинский:

— Неужели ты действительно хочешь объединения с меньшевиками?

Сталин минуту походил. Встал перед Кауровым:

— У настоящей, Того, хитрости на лбу не написано, что она хитрость.

Когда-то Кауров уже слышал от Кобы этот афоризм. Да, да, это были чуть ли не последние его слова в последнюю их встречу в 1913 году. Удивительно. Сталин теперь с них же начинает.

— Ты же, Того, шахматист. Значит, должен понимать. Объединение — это ход. Конечно, объединившись, мы сохраним собственную фракцию. Но сразу же займем место у руля Советов. Отсюда еще лишь шаг-другой до образования правительства советских партий. Заполучим две-три ключевые высоты. А потом при удобном случае...

Здоровой рукой или, вернее, лишь кистью Сталин сделал скупой жест — в точности такой же, как и четыре года назад в комнатке у Аллилуевых, — будто свернул шею некоему куренку.

— Вели бы наступление под видом обороны, продолжал Сталин. И в несколько этапов кампанию бы выиграли. Вот тебе перспектива развития революции.

— Ты говорил это Ильичу?

— Пытался. Но, как известно, хуже всякого глухого тот, кто не хочет слышать. В тоне опять просквозило обиженное самолюбие. Почитал бы ты его статьи, которые он из Швейцарии прислал в «Правду». Мы их не напечатали. Его беда: потерял ощущение России.

Сталин еще несколькими фразами язвительно охарактеризовал план Ленина. Издал шипящий звук, что-то вроде «п-ш-ш-ш».

— Диалектик! Государство, негосударство, полугосударство... Ха! Ты обратил внимание, как он ходит?

Вновь выплеснулась озлобленность Кобы. Он утрированно изобразил Ленина — выставил вперед плечо, стал кособоким и, устремив взгляд в одну сторону, зашагал в другую.

— Видишь, не туда идет, куда намеревается. — Сталин помолчал. — Так оно, думаю, и будет: не туда придет, куда глядит. И как-нибудь все утрясется.

Кауров не столько возражал, сколько расспрашивал:

— Коба, а вот как насчет войны?

Сталин, не отвечая, занялся трубкой. Кауров, однако, не проявил терпения:

— И почему ты во время войны ничем не дал знать о своих взглядах? От тебя ничего к нам в якутскую ссылку не дошло. Я не раз уже прикидывал: почему Коба не выскажется?

Сталин задымил, поднес огонек к доставшему папиросу гостю.

— А что ты написал?

— От меня, Коба, никто и не ждал этого. Но среди товарищей я не помалкивал... Бывало, махнем в Якутск вместе с Серго...

— С Серго? — живо переспросил Сталин.

— Ну да. Обитали с ним в селе Покровском. Два большевика на все село.

— Как он там переносил стужу? Был здоров? Не тосковал?

— Может быть, и тосковал бы, да... — Кауров запнулся.

— Досказывай. — Сталин по-русски привел пословицу: — В чем проговорился, с тем и распростился. Что он там? Втюрился?

Кауров кивнул. Коба заинтересованно продолжал вытягивать из него подробности. Пришлось рассказать про влюбленного Серго.

— Врезался! — все так же по-русски определил Сталин. И прокомментировал: Отсидишь три года в Шлиссельбургской крепости, потянет к бабе.

Кауров отвел глаза. Некий нравственный запрет восставал против грубого суждения Кобы.

— Чего застеснялся, красна девица? Как думаешь, обкрутятся?

— Уверен!

— Ха, что творит Россия! Грузии нашел себе пару в Якутии.

Сталин порасспросил о большевиках, что в войну отбывали якутскую ссылку. Не обошел и

Иркутск, пытливно разузнавал о тамошних революционных делах, о настроениях, о линии большевистской фракции. Затем снова прошелся, раскурил трубку и переменял тему:

— Когда мне, Того, приходится разговаривать по-грузински, то сначала я говорю легко, а потом замечаю, что нет-нет, а подыскиваю слова. А если задумаюсь, думаю по-русски. Окончательно стал русским.

Этот мотив тоже уже был знаком Каурову, хотя резкий грузинский акцент в русском произношении, ошибки в ударениях, от чего Коба так и не избавился, противоречили, казалось, его признанию. Уловив сомнение, Коба подтвердил:

— Стал русским.

— И что же?

— Что? — Сталин помедлил. — Русь, куда ты несешься, дай ответ. Не дает ответа.

На слух Каурова, эти известнейшие слова Гоголя странно звучали в устах большевика. Мысль о неисповедимости путей России была, разумеется, чужда русскому марксистскому движению. Оно и возникло-то в борьбе против нее. И вдруг Сталин в узенькой пустой комнате на Мойке в ночной беседе с другом вымолвил: «Не дает ответа». Э, так он, кажется, вернулся к тому, о чем сперва не захотел говорить, к словно бы повисшему вопросу Каурова: почему во время войны не высказывался?

Теперь Кауров внимал не перебивая. Сталин продолжал:

— А товарищ Ламанчский преподносит нам ответ: государство без армии, без полиции. Пыхнув трубкой, он вынул ее изо рта и с сипотцой дунул в поднимающийся к голой лампочке дымный клубок, который тотчас космами расползся. Картинность заменила ему долгие речи. Он и далее выражался кратко: Сбросить грязное белье... Это нетрудно, когда дело идет о всяких одежках эмигрантского полупризрачного существования. Нетрудно повернуть туда-сюда... — Сталин поупражнял пальцы, распрямляя и снова сжимая ладонь. — А поверни-ка Россию! Мы же беремся это сделать, ведем к власти нашу партию. — Он не убыстрял слов, по-прежнему негромких, но говорил с силой, которая ощущалась собеседником. Позволительно ли нам, революционерам России, рассматривать ее как страну без истории, страну, лишенную национального духа и характера?

Кауров слушал, испытывая опять смятение мыслей. Как отнести к Кобе? К какому направлению его причислить? Социал-патриот? Нет, совсем не то. Но откуда же это у него: Россия, Русь? В дружеском кругу большевиков этак о России не говаривали. Ни на какую полочку его не поместишь.

Многое в нем привлекательно. Вот он только что сказал: ведем партию к власти. Но сам-то отнюдь не властолюбец! Его зарок: ничего для себя. Как и в былые годы, ходит обтрепанным. Ночует на этом продавленном диване, не имея, наверное, ни одеяла, ни подушки. Работает и днями, и ночами. И не выставляется, держится не на виду. Так у нас и будет: власть без властолюбия!

Окно уже чуть помутнело, Кауров стал прощаться:

— Надо бы, Коба, еще повстречаться.

— Захаживай.

Однако в считанные дни этого приезда Каурову больше не довелось потолковать с Кобой.

Солдат Кауров вновь приехал из Иркутска в Питер в том же 1917 году на исходе лета или, говоря точнее, в воскресенье двадцатого августа. Тогдашние даты легко запоминались, могли быть и впоследствии восстановлены без затруднения: из них складывался календарь русской революции, на его листках оставались метки несущихся будто наперегонки событий.

8 тот ясный августовский день происходили выборы в Петроградскую городскую думу, которым в газетах, что Кауров купил в вокзальном киоске, были посвящены аншлаги во всю полосу, аншлаги, называемые также шапками на не чуждом ему еще со времен дореволюционной «Правды» жаргоне профессионалов. Каждая призывала, напутствовала на свой лад избирателей.

Нашлась тут и невзрачная газета большевиков «Пролетарий» — орган Центрального Комитета партии. Да, полтора месяца назад «Правда» была разгромлена юнкерским отрядом и запрещена, но потребовалось лишь несколько дней, чтобы ей на смену появился «Рабочий и солдат». Временное правительство закрыло и эту газету, однако почти тотчас же ее место занял «Пролетарий».

Здесь же Кауров бегло просмотрел страницы «Пролетария». Э, передовица, помещенная без подписи, принадлежит, видимо, Сталину. По разным признакам — короткая энергичная фраза, повторы, призванные усилить речь, можно безошибочно угадать его руку. Даже некоторые документы партии, что Кобе теперь довелось писать, были, на глаз Каурова, словно мечены некой именной печатью.

Как раз в день отъезда из Иркутска он успел заполучить дошедшую из столицы газету своей партии (тогда «Рабочий и солдат»), где было опубликовано обращение питерской городской конференции большевиков «Ко всем трудящимся, ко всем рабочим и солдатам Петрограда». Там говорилось о восторжествовавшей контрреволюции, которая загнала Ленина в новое подполье, уpekла в тюрьму ряд выдающихся вождей отбитой революционной атаки. Сквозь набранные крупноватым шрифтом ровные столбцы как бы проступал знакомый, разборчивый — каждая буква поставлена впрямую — почерк Сталина. Кто, как не он, мог повторить в этом воззвании строчку, уже дважды или трижды фигурировавшую в творениях Кобы-журналиста: «Мы живы, кипит наша алая кровь огнем неистраченных сил!»?

Однако пока что газетка неказиста. Вот куда приложить бы руки, поработать в «Пролетарии»!

— Ваши документы!

Этот оклик возвращает Каурова под своды обширного людского пассажирского зала. К зачитавшемуся солдату-иркутянину подступил патруль — два юнкера и прапорщик. У юнкеров винтовки с примкнутыми штыками. Лоснится вороненая сталь. Гимнастерку прапорщика украшают беленький Георгий и нашивка за ранение. Глаза холодно озирают солдата, расценивают нерядовое обличие. Чистенько одет. Тонка кожа загорелых щек, нежный румянец сгодился бы и девушке. Багаж явно не солдатский — у ног стоят два чемодана. И впился, извольте ли видеть, в листок большевистской партии.

Кауров не теряется, кладет на чемодан поверх пачки только что купленных газет свой «Пролетарий», оставляя заголовок на виду.

— Документы? Пожалуйста.

Из полевой сумки, перекинутой на ремешке через плечо, он извлекает хрусткую бумагу. Милости прошу, поинтересуйтесь. Не угодно ли, нижний чин Кауров подлежит демобилизации

и дальнейшему направлению, как гласит эта уснащенная писарскими завитками грамотка, в Петербургский университет для восстановления в правах студента. Указан и соответствующий циркуляр за таким-то номером: студенты, пострадавшие от политических преследований, исключенные при царском режиме за революционные дела, возвращаются из армии продолжать образование.

Прапорщик ознакомился с бумагой, повертел ее, рассматривая оттиснутую фиолетовой краской круглую печать, потребовал еще и солдатскую книжку, затем кинул взгляд на чемоданы.

— Не желаете ли приподнять? — озорно спрашивает Кауров. — Должен сообщить: тяжеловаты.

— А что в них?

— Революционный груз.

— Какой?

— Не догадываетесь? Книжки! Странствуют со мной.

Не поддержав шутку, хмурый начальник патруля протягивает солдату документы и отходит, кивком зовя за собою юнкеров.

Кауров посматривает вслед. Да, хватило у вас, господа, силенок вынудить Ленина уйти в подполье, а запретить партию руки коротки! И газету «Пролетарий» обязаны терпеть! Вам, наверное, хотелось бы схватить этот листок, а заодно увести под конвоем читателя-солдата, но видит око, да зуб неймет.

Сохранив и в тридцать лет юную статью, Кауров легко подхватывает свои чемоданы, выбирается на площадь. Впереди простерта уходящая в смутноватую даль прямизна Невского, будто обычного — двигаются туда-сюда трамваи, посверкивает бликами витрин солнечная сторона. Кауров невольно останавливается, втягивает глубоко воздух Питера. И предается не всем знакомому или испытанному иными лишь мимолетно ощущению — ощущению столицы. Наконец-то он опять станет питерским студентом — э, впрочем, в такой час истории что ему попечения студента? — станет питерским работником, приобщится и к обиходу малой, и к великой первородности, к первоисточнику, к центру, откуда в необъятную сибирскую провинцию добежали волны. Здесь, на этих улицах, рождаются, происходят потрясения всей земли. И ось земного шара, если разрешить метафору, пролегает теперь, может быть, как раз на том перекрестке, где, как он в подробностях знает по газетам, днем четвертого июля демонстрацию, шествовавшую под большевистскими знаменами, заполонившую весь Невский, огрели ружейной пальбой. И загремела перестрелка.

Ленин в «Рабочем в солдате» определил смысл этих событий. Мирный период революции кончился. Пришел черед немирному.

Снова всплывает: мы живы! Да, кипит — какая штука! — наша алая кровь огнем неистраченных сил.

Найдя первый приют у брата — а дальше заведется какой-нибудь отдельный кров, — Алексей Платонович сбросил в ванной все свои одежды, немедленно изъятые для кипячения

или сухой прожарки кипятком, и с удовольствием, какое, быть может, и не подобало суровому большевику, полежал в ласково-горячей воде, потом энергично пустил в ход мочалку и мыло.

Омолодившийся, снявший со щек бритвой белесый неколючий ворс, он облачился в хранившуюся тут еще со дней отправки в ссылку свою университетскую форму. Брюки, тужурка, на которой золотился строй давно поистершихся пуговиц, пришлись, как и раньше, впору. Посмотрелся в зеркало, насупил черные брови, чтобы хоть этак согнать с сероглазого лица налет, шут ее дери, наивности. Неужели с ней не развяжешься, в палевых ресницах она, что ли, таится? Водрузил на влажный еще хохолок изрядно тасканную студенческую, с синим околышем фуражку.

Пожалуйста, доподлинный вечный студент. Настоящий петербургский тип. Шагнем теперь в новую полосу жизни, в питерское влекущее горнило.

Куда же прежде всего в этот воскресный вечер держать путь? Манят разные места, но в первую голову он разыщет Серго Орджоникидзе, с которым подружился в Якутии. По праву этой дружбы Серго уже с женой вторгся к Каурову в Иркутске, прижился на какие-то мигом пролетевшие дни возле Платоныча. И умчался в Петроград. Вскоре от Серго дошла краткая писулька, несколько размашистых, преисполненных грузинского духа строк: если приедешь, иди сразу же ко мне, а то насмерть обидишь. Далее следовал адрес.

И вот наш вольный студент, добравшийся трамваем опять в район Московского вокзала, поглядывая на афишные тумбы, на оклеенные всяческими плакатами стены, порой запуская любопытствующий нос в неимоверно размножившиеся после революции книжные развалы под открытым небом — сейчас оно уже тронута краской заката, предлагающие свое обилие, главным образом брошюрное, пошагивает мимо протянувшихся параллельными линиями Рождественок, направляется к обиталищу Серго.

И вдруг — какая штука! — кого он видит среди встречаемых? Это же Серго! Буйная вздыбленная шевелюра, какую тот отрастил в Якутии, теперь наголо снята, лишь коротенькая поросль чернеет на непокрытой голове. А в остальном не изменился. Чесучовая навывпуск рубашка, подпоясанная кавказским в серебряной насечке ремешком, охватывает худощавый стан. Чуть загибаются вверх острые кончики усов. Отчетливо пролеплены тонкие нервные крылья нависающего горбатого носа. Глаза, на удивление большие, отливают блеском чернослива.

С ним рядом в голубом холстинковом платье, светловолосая, просто причесанная Зина, с лица румяная русская крестьянка. Впрочем, не совсем русская — в слегка выпирающих скулах и в косоватой прорези глаз сказывается якутская кровь.

Точно пара влюбленных, они шагают, взявшись за руки. Кауров, улыбаясь, идет прямо на них. Серго, конечно, не ожидает увидеть под студенческим околышем знакомые ямочки на свежих щеках, но мигом в глазах-черносливах вспыхивает радостное узнавание, он, не стесняясь улицы, заключает Каурова в объятия, чмокает в губы. И восклицает:

— Зиночка, здравойся! Платоныч, когда же ты приехал?

— Сегодня. И сразу же к тебе.

— Черт побери!

Каурову приятно слышать здесь это чертыхание: Серго издавна во всевозможных обстоятельствах поминает черта. Сейчас нотка замешательства или затрудненности угадывается в его восклицании.

— Черт побери! А мы с Зиной завтра уезжаем.

— Куда же?

— В хорошие места. Подвизались там с тобой. Баку, Тифлис... Билеты уже в кармане.

— Значит, повезло, что сегодня тебя встретил. Но перед отъездом ты, наверное...

— Перестань! Не отпущу! Однако в выразительных глазах Серго опять мелькнуло замешательство. — Извини, проделаем сперва маленькую организационную работу. Зиночка, прошу, сбегай, предупреди, что приведем Платоныча.

Уроженка Якутии откликается:

— Ой, Серго, боюсь. Он меня погонит.

— Кто? — интересуется Кауров.

— Э, слетаю сам! — не отвечая, решает Орджоникидзе. — А вы идите вон в тот скверик. Садитесь на скамейку, ожидайте.

И, более не распространяясь, еще раз тепло взглянув на друга, скороходью зашагал.

— Целыми днями его почти не вижу, — произносит Зина. — Утром даю кофе, он разливает в два стакана, чтобы скорей остыло. Выпьет и бежит.

Затем Зина рассказала о своем столичном обиходе:

— Сразу здесь нашла занятие. Целыми днями простаиваю в очередях. И за хлебом, и за мясом, и за сахаром.

Широкая в кости, выносливая, она с юморком описала несколько эпизодов из текущего быта питерских очередей. Но разговориться не пришлось.

Прежней скороходью в сквер влетел Серго:

— Пойдемте.

На тротуаре Зина и Серго опять взялись за руки. Студент пристроился рядом. Два профессионала революции сразу, конечно, заговорили о своем. Серго стал рассказывать про нынешние выборы в городскую думу:

— Я себя, Платоныч, сегодня проклинал, что не могу всюду поспеть. Но видел сам и слышал от других: весь питерский пролетариат голосовал только за нас. Рабочие кварталы идут только с нами. От этого, черт побери, хмелеешь без вина!

Влажноватое сияние глаз, улыбка, приподнимавшая острые кончики усов, впрямь делали его похожим на хмельного. В ответ улыбался и Кауров. Еще бы! Всего несколько недель назад партия пережила поражение, ее сочли поверженной, растоптанной, а вот сегодня...

— Сегодня мы закатали, — продолжал, смеясь, Серго, — такую оплеуху вчерашним победителям, от которой пойдет гул на всю Россию.

Переполненный впечатлениями, он на ходу еще и еще ими делился.

— Куда ж ты, такая штука, меня тащишь?

— Понимаешь... — Словив себя на мимолетной запинке, Серго вновь рассмеялся. — К Аллилуевым.

— Да я к ним и сам запросто захож. К чему такой церемониал?

— Знаешь, без предупреждения было бы не совсем удобно. А теперь ты приглашен. И на меня шишки не посыплются.

— Какие шишки? Ты что-то крутишь.

— Ничего.

— Аллилуевы, значит, на новой квартире? Перебрались в центр?

— Да, гляди, экий домина!

Серго указал на многоэтажное, с зодческими украсами, с благолепным подъездом здание, предназначенное, несомненно, отнюдь не для жильцов из рабочего сословия. В просторном вестибюле восседал представительный, в золоченых галунах швейцар. На лифте поднялись до самого верха. Да, в таких домах не живут рабочие. Но Аллилуев, как это было ведомо Каурову, принадлежал к рабочим особого рода или, верней, особенной жилки, к талантам-самородкам, редкостным электрикам, увлеченным таинствами своей специальности, чья сметка и золотые руки доставляли заработок примерно рядового инженера. Теперь на электростанции он нес дежурства, зачастую и ночные, у приборов кабельной сети, раскинувшейся по Петрограду. К тому же был и членом заводского комитета.

На звонок открыла Ольга Евгеньевна. Она, видимо, только что от плиты. На покатых плечах лежали проймы цветного фартука, защищавшего свежее нарядное с короткими рукавами платье, отделанное кружевцем вдоль грудного выреза. Жар огня, казалось, бросал еще отсвет на щеки, несколько утратившие былую округлость. Да, Ольга Евгеньевна, как мог судить Кауров, потеряла в весе, наверное, излишнем, подобралась. Уже и ямочки на локтях сделались малоприметными. Однако ей, что называется, шло это похудание. Она выглядела крепенькой. И будто еще прихватила энергии. Блестели карие, напоминавшие цыганку глаза.

— А, наш репетитор! — приветствовала она Каурова. Сколько лет не виделись!

Дружелюбно поздоровалась с Зиной.

— Сколько лет? — переспросил Кауров. Не так много. Еще не прошло и трех.

— Верно! Зимой будет три... А я теперь, Алексей Платонович, совсем другая. Исполнилось одно вещее слово. Кажется, как раз вы его сказали.

— Я? Когда?

— Помните, мы выпили за то, чтобы мне приобрести профессию. Так и вышло! Служу в госпитале сестрой милосердия. Получила волю!

— И рады?

— Еще бы! Дом, правда, запустила. Кинула на свою старшую. И младшая, слава богу, вчера приехала с каникул. Сейчас со мной кухарит... в честь этой двоечки. — Блеснув глазами в сторону Зины и Серго, она озорно пошутила: — Где двоечка, там скоро и троечка.

Серго оборвал:

— Ольга!

— Слушаюсь! Чего же мы стоим? Идемте в столовую.

Опять заговорил Серго:

— Обожди. Сначала с Платонычем зайдем к нему. Он где?

— У себя в комнате. А Зину забираю.

Серго, сопровождаемый Кауровым, прошел по коридору, постучал в дверь дальней комнаты. Оттуда донеслось:

— Угу.

Дверной проем раскрылся. Обдало куревом. И тотчас Кауров узнал Кобу. Во рту дымилась трубка. Так вот о ком Зина сказала: «боюсь». Без слов разъяснилось и поведение Серго.

Левой рукой прежним затрудненным круговым движением Коба вынул из-под усов трубку. Глаза были веселыми.

— А, Того...

Это уже четырнадцатилетней давности «Того», употребляемое только Кобой, как бы выявило вновь неизменное его упорство. Смерив взглядом студенческое одеяние Каурова, Сталин поднял бровь, но ни о чем не спросил.

— Садитесь.

Он выглядел тоже обновившимся — брюки и пиджак, видимо, недавно купленные, хоть и поизмялись, но вовсе не лоснились. К отворотам пиджака были, как и прежде, когда Коба находил прибежище у Аллилуевых, подшиты изнутри высокие, черного бархата вставки, прикрывавшие шею, а заодно и сорочку. Крутой подбородок был выбрит.

Не начиная разговора, Коба своей поступью горца, и твердой и легкой, неторопливо прохаживался по вытянутой в длину комнате с железной, застланной белым покрывалом кроватью, небольшим письменным столом и этажеркой, на которой стояли и лежали книги.

39

Кауров тогда еще не знал, что в этой комнате прожил несколько дней Ленин — несколько дней после того, как Временное правительство отдало распоряжение о его, а также Зиновьева и Каменева аресте.

Квартира Аллилуевых в то время была почти необитаемой. Младшая в семье, носатенькая Надя проводила каникулы около Москвы, где жили давние, еще по Баку друзья отца. Нюра, которую когда-то репетировал Кауров, уже сдала весной выпускные гимназические экзамены, потом с усердием новобранца потрудилась в секретариате первого съезда Советов и уехала к знакомым в дачный уголок под Питером. Аллилуевы-сыновья распрощались с домашним гнездом: один работал в деревне, другого призвали в солдаты. Ольга Евгеньевна, став медицинской сестрой, так и пребывала в госпитале, редко навещавшаяся в квартиру. Сергей Яковлевич, поглощенный своим делом, тоже зачастую сутками оставался на электростанции, где располагал и местечком для сна.

Пустовала и маленькая комната, предназначенная Сталину. Он, казалось, не тяготился бездомностью, жила то у Каменева, то у Енукидзе, то по-прежнему в редакции «Правды», где вытягивал черную работу, отступив в тень перед Лениным, уже главенствовавшим. И, никому не сказываясь, будто и теперь блюдя навык конспиратора, лишь изредка заночевывал из Рождественке. Не говорливый, овеванный всегда, даже под веселую руку некой

таинственностью, он, возможно, приберегал эту квартиру на случай чрезвычайных обстоятельств.

Они настали. Стихийное выступление питерских рабочих и солдат под лозунгом «Вся власть Советам» было подавлено. Казачьи части и отряды юнкеров хозяйничали на улицах столицы. Типография и редакция «Правды» в ночь с четвертого на пятое июля были разгромлены.

Пятого днем бойкую сестру милосердия Аллилуеву вызвали в госпитале к телефону. Она в белой косынке, в белом госпитальном халате с нашитым на груди красным крестом прибежала в канцелярию, взяла трубку:

— Я слушаю.

В слабом гудении мембраны возник знакомый хрипловатый голос:

— Узнаешь, кто говорит?

— Здравствуй, Сосо.

Не торопись, Сталин сделал ей внушение:

— Сколько тебя надо учить, имен не называй!

— Ой, извини.

— Можешь ли ты сейчас приехать домой?

— Сейчас? Что-нибудь случилось?

— Зря вызывать тебя не стал бы.

— Говори же, что? И с кем?

Сталин, однако, своей неторопливостью заставил ее помучиться еще минутку. Помолчав, объявил:

— Не беспокойся. Все твои живы-здоровы. Но ты нужна. Сочини для начальства что-нибудь правдоподобное. Сумеешь?

Она наконец чуть улыбнулась:

— Сумею.

...Часа два-три спустя Сергей Яковлевич Аллилуев, потревоженный телефонным звонком Ольги, вернулся с Обводного канала, где находилась его любимая электростанция, в свою квартиру на пятом этаже благообразного дома со швейцаром и лифтом, квартиру, которую окрестил вышкой. Жена передала слова Сталина: надо укрыть на какой-то срок нескольких товарищей. Кого именно, Иосиф не сказал.

Сергей Яковлевич с годами все более обретал вид отшельника-монаха, кого на Руси уважительно прозывают старцами. Ранняя седина посеребрила монашескую его бороду. Оголился со лба череп. Заметней обозначились провалы висков. Исхудалый длинный нос, выраставший будто прямо изо лба, то есть почти без переносицы, казался костяным. Изможденность лица выделяла, делала очень большими глаза, источавшие точно бы лихорадочный блеск, пытливые, проникновенные. Ему не потребовалось раздумий, чтобы решить:

— Пускай наша вышка служит партии. Принимай, Ольга, жильцов.

...Вскоре Сталин привел к Аллилуевым рослого рыхловатого Зиновьева, нынче выглядевшего мрачным, и миниатюрную, с твердой складкой широкого рта, с уже пробившейся в коротко подрезанных темных волосах ранней сединой Зину Лилину, его жену. Быть может, полтора десятка лет назад именно в честь Зины, которая была на два года его старше, юноша-эмигрант Радомысльский, в те времена худенький, погруженный в книги, не утративший свойственного нередко евреям мечтательно-скорбного выражения больших глаз, избрал свой псевдоним.

В несколько мужской решительной походке Лилиной — она из прихожей прошагала впереди мужа чувствовался характер. За Зиновьевым следовал обросший щетинкой невозмутимый Коба. Вошли в столовую. Аллилуев, встав, глубоко поклонился гостям.

— Сергей, неторопливо произнес Сталин, знакомься. Это товарищ Зиновьев. Человек, который, по нашей кавказской поговорке, глядел в глаза орлу.

Лилиной Коба не уделил ни слова. Долго прожив среди русских, он, однако, сохранил восточную манеру, согласно которой женщина, жена не заслуживала упоминания. Впрочем, спутница Зиновьева тотчас нашла способ себя представить. Подойдя к мужу, она поправила его сбившийся галстук и с мимолетной лаской провела смуглыми пальцами по его вскинутому, мелко курчавившимся густым черным волосам. Слов не требовалось — жена! Усталой улыбкой Зиновьев ее поблагодарил.

— Глядел в глаза орлу, повторил Сталин.

— Знаю, сказал Аллилуев, впервые пожимая мягкую руку Зиновьева. Слышал вашу речь у особняка Кшесинской. Вы тогда сказали: птица вьет гнездо.

— А... Дошло?

— Взяло за душу, товарищ Зиновьев.

40

Птица вьет гнездо... Да, Григорий Евсеевич Зиновьев, конечно, не забыл эту свою метафору, явившуюся ему в минуту ораторского озарения. Пожалуй, эта его речь, произнесенная примерно через неделю после того, как «швейцарцы» добрались в Петроград, означала, что он, Зиновьев, определился, примкнул к тезисам Ленина.

Накинув пальто, Григорий Евсеевич выбрался на балкон особняка приветствовать подошедшее с Выборгской стороны шествие участников митинга, что был проведен районным комитетом большевиков. Светящиеся шары фонарей и косые полосы электричества из окон выделяли там и сям простертые над головами кумачовые полотнища, кратко взывавшие: «Хлеба! Мира! Свободы!» Кумач на свету рдел, а в сгущениях мглы казался почти черным.

Именно там какой-то не лишенный фантазии журналист ухватил этот образ-игру красного и черного, — чтобы в своем завтрашнем отчете написать про цвета анархизма, реющие вокруг штаб-квартиры Ленина.

Наследник Бакунина, анархо-большевик — такая слава явившегося из-за границы вечного раскольника, всех огорошившего своими тезисами, уже гуляла на столбцах множества газет, катилась по Руси. Уже и пером Плеханова было засвидетельствовано: «Ленин со всей своей артиллерией переходит в лагерь анархизма».

Бюро ЦК большевиков не поддержало Ленина; в Петроградском комитете его позиция собрала только два голоса, а вот Выборгский райком первым принял тезисы.

...С балкона кто-то объявил:

— Слово предоставляется члену Центрального Комитета партии товарищу Зиновьеву.

Гомон сборища стихает. Зиновьев стоит у балконных перил, непокрытая, в ободке вьющихся волос голова и крупный корпус в незастегнутом пальто явственным силуэтом вычерчены на фоне освещенной двери. Слегка склонившись, он выкрикивает:

— Товарищи!

Голос высок, почти как мальчишеский дискант. Дальнейший зачин речи идет на той же верхней ноте. Со стороны может почудиться, что в полутьме говорит не этот большемерный мужчина, а кто-то другой, скрытый за ним. Лишь постепенно отделяешься от такого впечатления. Голос уже не назовешь тоненьким, он оказывается звеняще сильным, далеко разносится в просторе улицы.

— Мы, пролетарские революционеры, требуем: вся власть Советам! Что же это такое: власть Советов? Птица вьет гнездо...

Улеглись невнятные шумки толпы. Можно слышать тишину.

— Вьет гнездо, как велит ей инстинкт, и еще сама не сознает, что же она, собственно, строит. Рабочий класс, руководимый инстинктом, создал свои Советы, но еще не совсем уяснил их смысл. Ведь он свивает, вылепливает новое общественное устройство, новую власть, принадлежащую всему народу, который сам станет управлять всеми делами без каких-либо стоящих над ним распорядителей. Это и будет истинной свободой, какую не знает ни одна буржуазная республика.

Речь льется вдохновенно, головы подняты к оратору. Боковой свет отражен в его поблескивающих волосах, в бледном, точно бы прибеленном лице. Завладев слушающими, он будто внушает: надо лишь захотеть, лишь протянуть руку и — вот она, желанная, небывалая доселе жизнь, власть мозолистых ладоней, власть Советов.

Нисколько не слабеет тонкий голос.

— Птица вьет гнездо. Пролетариат инстинктивно организует не только Советы, но и свои вооруженные дружины. Рабочие добывают оружие, еще даже не осмыслив, что поголовно вооруженный народ — это и будет новая всеобъемлющая власть, новое государство, которое явится предтечей отмирания, исчезновения всякого государства.

Зачаровавший рабочую толпу, проговоривший более часа, Зиновьев награжден взметом одобрения. Долго бухают хлопки. С балкона он шагает в обширную комнату, где размещены несколько столов и шкаф, вся, так сказать, служба Центрального Комитета партии. Из боковой двери к нему скорой походкой идет Ленин, характерно выставив плечо, будто забияка. Но слова не забиячливы:

— Теперь, дорогой друг, скачите в «Правду». Приглядите там за номером. У меня зарез. Наверное, ночью забегу.

Казалось бы, в деловом говорке Ильича не разыщешь отклика на речь, которая еще и в ту минуту отблескивала вдохновением на приобретенном артистизм, вскинутом, с бисеринками влаги у верхней кромки лба лице Зиновьева. Однако Старик назвал его не Григорием, не батенькой, не сударем, а дорогим другом. Обоим понятно: Зиновьев следует за Лениным, разномыслия канули, упоминать о них не нужно. А сантименты — по боку!

В том же темпе Ленин спешит обратно к оставленной на минуту работе, скрывается за дверью.

У противоположной стены в тени, отбрасываемой шкафом, стоит Коба. Поверх разлохмаченной темной фуфайки надет серый пиджак. Взгляд скошен на Зиновьева. У Кобы порою бывает этакий тяжелый, из-под лба взор, к какому подходит выражение: положил глаз. Низковатый грузин все слышит, все примечает и молчит. Зиновьев, будто ощутив некое прикосновение, оборачивается, смотрит в упертые зрачки. И, приблизившись, улыбается.

— Так оно, Коба, и сбудется. Мы на своем веку это увидим: государство отомрет.

Сталин по-прежнему безмолвствует. Сдается, он и не ответит. Но все-таки цедит:

— В Швейцарии?

Реплика весома. В ней многое содержится. Зиновьев, однако, находчив:

— Конечно, не в одной же матушке-Руси.

Коба молчит.

...Недолгое время спустя тезисы Ленина собрали большинство на петроградской городской и на Всероссийской партийной конференциях. Переломил себя и упрямый Коба, присоединился к Ленину. Но уже и тогда воспользовался формулой, свидетельствовавшей, казалось бы, только о скромности: «Мы, практики». Так и вел себя скромнягой, пренебрегал авансценой, изредка давал короткие статьи, занимался невидной, подчас мелочной, требовавшей муравьиного упорства организаторской работой.

Теперь, после июльских потрясений, когда первым людям большевистского ЦК угрожал арест, у него, словно в предвидении такого оборота, был готов для них тайный приют.

Приведя к Аллилуевым Зиновьева и его жену, Коба в какую-то минуту сказал Ольге Евгеньевне:

— Устрой их в детской.

(К слову заметим, что детской в этой квартире именовалась комната, в которой жили Ольга Евгеньевна и дочери, а столовая служила обиталищем Сергею Яковлевичу и Феде.)

Лилина объявила, что не будет ночевать. Она должна вернуться к сыну, нельзя оставить восьмилетнего Степу.

— Завтра понаведаюсь.

Григорий Евсеевич покивал. Сталин грубовато вмешался:

— Туда-сюда, товарищ Лилина, не бегайте. Дам знать, когда понадобится.

Несколько погодя Коба заглянул в свою пустующую комнату. За ним вошла и Ольга.

— Сосо, ночевать будешь?

— Нет. Проветри хорошенько, чтобы не пахло табачищем.

Такое было странно слышать от заядлого курильщика. Разъяснений не последовало. Этот дальний уголок квартиры Коба предназначал Ленину.

Ленин пришел к Аллилуевым утром на следующий день. Он, разыскиваемый для ареста, прибег к некоторым мерам предосторожности: не ночевал дома и сменил кепку на купленную еще в Стокгольме круглую шляпу-котелок с загнутыми полями. Этот головной убор поразительно его менял. Сквозь тяжелую дверь и обширный вестибюль к лифту проследовал вполне приличный, профессорского вида, с рыжими усами и бородкой господин. В такт шагу он небрежно вскидывал тросточку. Его темный в полоску недорогой костюм выглядел свежим, отутюженным, синеватый в белую горошину галстук аккуратно прилегал к светлой сорочке, ботинки-бульдожки безукоризненно блестели — Ильич в решающие часы жизни, как однажды мы упомянули, бывал особенно требователен к своему облику.

Днем на квартиру-вышку один за другим собрались некоторые члены ЦК, а также Надежда Константиновна и Мария Ильинична.

Разговоры не вязались, были натянутыми, пока наконец не зашла речь про то, что теперь нависло. Как отнестись к приказу об аресте? Должны ли Ленин и Зиновьев пойти арестовываться, чтобы затем в гласном суде дать бои клеветникам? Или же скрываться?

Обсуждение происходило в предоставленной Зиновьеву детской. Ворох свежих газет громоздился на столе — почти в каждой был перепечатан появившийся вчера донос, в котором Ленину приписывались связи с германским генеральным штабом, или попросту шпионство. Тут же возле газет горкой на тарелке красовалась клубника, которую утром принесла с базара, как скромный подарок Владимиру Ильичу, явившаяся из загорода старшая дочь Аллилуевых. Однако по странной иронии житейских мелочей Ленин со дня рождения не мог есть клубнику: даже одна съеденная ягода неминуемо вызывала крапивницу, медики называют это идиосинক্রазией.

Да и никто из собравшихся не трогал ягод. Только Сталин время от времени подходил к столу, набирал без стеснения пригоршню. Он выделялся здесь спокойствием.

Ленин энергично выступил сторонником явки. Он был бледноват — таким неизменно становился, волнуясь. Лишь двумя пятнами краснели выдававшиеся скулы. Надежде Константиновне издавна ведом этот признак клокочущего в нем огня, исступленного стремления, что никому не под силу остановить. Он уже написал заявление, адресованное Центральному Исполнительному Комитету Советов. Лист бумаги, где содержится это заявление, белеет на столе. Почерк разборчивее, крупнее, чем обычно. «...Считаю долгом официально и письменно подтвердить то, в чем, я уверен, не мог сомневаться ни один член ЦИК, именно: что в случае приказа правительства о моем аресте и утверждении этого приказа ЦИК-том, я являюсь в указанное мне ЦИК-том место для ареста. Член ЦИК Владимир Ильич Ульянов (Н. Ленин)».

Ильич хочет гласности, хочет суда и выдвигает целый строй аргументов, мощью диалектики подкрепляет свой напор:

— Своеобразие положения заключается именно в том, что восторжествовавшая буржуазия, достаточно сильна, чтобы нас сцапать, но она не в состоянии отменить гласный суд. И таким образом сама подставляет себя под наш удар.

Как обычно, он еще и вдалбливал фразы кулаком. Поворачиваясь на каблуках, оглядел присутствовавших.

— Сталин, как о сем мыслите?

Коба стоял у окна. На этом светящемся фоне темнел его твердый, будто сделанный резцом профиль. Рядом на широком подоконнике уместился Серго Орджоникидзе. Он покусывал ноготь, не скрывая взбудораженности.

Сталин повел рукой, слегка выставил ладонь, измазанную клубникой, произнес:

— Мясники. До тюрьмы не доведут, пристрелят.

Лаконизм как бы придавал тяжесть его выражениям.

Серго, не утерпев, выпалил:

— Поставим условие: наш конвой, наша охрана?

Коба посмотрел на него, усмехнулся. И продолжал:

— Надо бы знать мнение товарища Зиновьева. Ему в этом вопросе принадлежит слово прежде нас.

Григорий Евсеевич сидел на кровати, вольно отвалившись к подушке. Какие-то складки утомления или угнетенности, как и вчера, пролегали на бритом лице. Теперь он разом выпрямился. Решительно вскинутая голова, вдруг обретшие блеск, ожившие глаза, выделенные синеватой легкой тенью в подглазии, заставили подумать: нет, лицо, да и вся стать более мужественны, чем это казалось.

Он без обиняков заявил о согласии с Лениным:

— Да, следует открыто явиться. Мы, еще едучи сюда через Германию, ждали, что, как только выйдем на питерском вокзале из вагона, нас тут же арестуют. И на это шли. Были готовы сделать своей трибуной скамью подсудимых. Такого, однако, не случилось. Революционный натиск масс по-своему определил развитие событий. Ныне же наступила ситуация, аналогичная той, которую мы, повторяю, еще в Швейцарии считали вероятной.

— Федот, да не тот, — обронил Сталин.

— Разумеется, одинаковых ситуаций не бывает. Нынешняя потруднее. Но какой революционер может рассчитывать, что его будут судить лишь в удобный для него момент?

— Вот, вот, — подхватил Ленин. И кинул взгляд на Сталина. — История таких удобств не обеспечивает.

Излюбленное оружие Ильича — ирония — и в эти минуты не отказывало.

Далее Зиновьев развил еще несколько доводов. Партия, ее судьба и ее дело — превыше всего. Отказ лидеров партии явиться в суд приведет наверняка к разброду, усугубит вызванную поражением дезорганизацию большевистских рядов. У Ленина вновь вырвалось:

— Вот, вот...

После Зиновьева говорил приехавший утром из Москвы, громадина ростом, не по годам осанистый Виктор Павлович Ногин. Аккуратны его пиджак, сорочка, галстук. Выходец из пролетариата, некогда рабочий-красильщик ткацкой фабрики Морозова, смолоду ушедший в революцию, в подпольщики, сам себя образовавший, ставший членом ЦК большевиков, Ногин всегда отличался этой неброской чистотой. Товарищам была известна его не склоняющаяся ни перед чем искренность. Ленин давно, еще с 1901 года, знал Ногина. Помогал ему расти. Переписывался, встречался. И с особой теплотой относился к нему — одному из передовых пролетариев России.

Мнение этого массовика, вседневно общавшегося с партийными ячейками московских предприятий, разумеется, имело тут немалый вес. Ногин откровенно признался, что ему было бы нелегко проголосовать за то или иное решение. Слишком велика ответственность. Все же сказал, что неявка действительно станет козырем противников партии. Клевета уже внесла смятение. Имеются впрямь знаки разброда. Он пояснил это примерами. Сообщил о толках, слухах, разноречиях в партийной среде.

Присев на стул, чуть склонив к плечу большую голову, Ленин слушал. Узкие глаза уставились в какую-то воображаемую точку. Поза оставалась застывшей вопреки характерной для Ильича нервной подвижности. Крупская опять вглядывалась в него и с мучительной ясностью видела: он решился, не своротишь.

— Мы, — продолжал Ногин, — обязаны потребовать открытого рассмотрения клеветы. Широкие партийные круги и рабочий класс, насколько я могу судить, не поймут неявки.

В этот миг вскочила Мария Ильинична, до сих пор молчавшая. Сейчас ее сходство с Ильичом было разительным. На побледневшем лице явственно краснели бугорки скул. Коренастая, она сунула кулаки в карманы синей вязаной кофты, будто повторяя манеру брата. Рано изреженные каштановые волосы не закрывали краев выпуклого лба. В карих глазах сверкало ленинское неистовство.

— Как вам не стыдно, товарищ Ногин, — прокричала она, собирать всякие слухи да сплетни! Вы же не торговка на базаре! Куда вы толкаете Владимира Ильича? На растерзание юнкерам! Неужели это вам не ясно?

— Маняша, спокойней! — прервал Ленин. — Опасность, конечно, есть. Но революция вообще дело опасное.

— Голубь мой! В этом нежном обращении опять просквозило забвение всех условностей. — Умоляю, не совершай безумия! Мне сердце говорит: ежели явишься, мы тебя живым больше не увидим. Ты не имеешь права, не должен рисковать собой.

— А партией рисковать могу?

— Володя, неужели ты не понимаешь, что, если партия потеряет тебя, это будет самым ужасным несчастьем. Ногин тут распространялся насчет настроений. Настроения переменчивы. Сегодня одно, завтра другое. А твоя гибель — да, да, гибель, смягчающие выражения к черту! — будет для партии ничем не возместима. Что мы такое без тебя?

— Тиру! Куда понесло? Этого слушать не желаю.

— Нет, изволь слушать. Ты, и только ты дал партии все ее идеи. Ты для нее...

— Маняша, перестань.

— Именно партией ты рискуешь!

Страстные высказывания сестры не смогли, однако, переломить упорства.

— Ошибаешься, — непреклонно сказал он. — Партия на верной дороге. И придет к победе... Жаль только, что я не успел издать свою тетрадь, где подобрано все написанное Марксом и Энгельсом о государстве. Ну, в крайнем случае, и без меня пойдет в печать. Партия будет тогда знать, как вести дело на другой день после пролетарской революции.

— Товарищи, удержите же его!.. Больше не могу...

Последние слова Мария Ильинична выговорила едва слышно. Отчаяние стиснуло голосовые

связки. Широкой, почти мужской походкой она подошла к Сталину:

— Дайте папиросу.

— Имею только горлодер для трубки. Вам не сгодится.

— Скручу. Давайте.

— Достанем папиросу. Ногин, одолжите курева.

— Не хочу у него брать.

— Найдем, в таком случае, другой выход.

Коба прошагал к комоду и, будто член семьи, открыл ящик, обнаружил початую коробку недорогих папирос «Ой-ра», протянул Марии Ильиничне:

— Хозяйка иногда балуется.

Зажег спичку. Сестра Ленина, прикурив, сделала несколько неумелых затяжек и вышла в коридор.

Надежда Константиновна, стараясь не привлекать к себе внимания, тихо поднялась какие-то душевные ресурсы, видимо, и у нее были исчерпаны — и тоже покинула комнату.

Сталин вновь преспокойно взял горстку клубники, пошутил:

— Курить, Владимир Ильич, не разрешаете, так оставлю вас без ягод.

— Гм... А что скажете по существу?

— Значит, явка? — Интонация Сталина была то ли утверждающей, то ли вопросительной. — Что же, согласимся. — Следуя выработавшейся бог весть когда привычке, он помедлил: — Но явка с гарантиями.

— То есть, иначе говоря, неявка? — тотчас прокомментировал Ленин.

Он уже давненько примечал, что в политической игре Коба любит применять лукавый ход: говорит одно, в уме держит другое.

Сталин на реплику не реагировал.

— Явка с гарантиями! — отдельно повторил он.

Серго, так и не слезший с подоконника, загоревшимися глазами смотрел на низкорослого, хилого с виду единоплеменника. Еще десяток лет назад в Баку, когда там зашла речь о совещании рабочих и нефтепромышленников, Коба объявил: «Совещание с гарантиями! Или никакого совещания!» И большевики это отстояли. Теперь он предлагает сходный лозунг.

— Есть ли гарантия, меж тем продолжал Сталин, что, явившись, наши товарищи не будут подвергнуты грубому насилию? Я вас спрашиваю, товарищ Ногин, имеете ли вы такую гарантию?

Ногин буркнул:

— Откуда она у меня?

— Следовательно, вы считаете возможной явку без гарантий? Так?

Ногин смолчал. Логика Сталина была несокрушима.

— Я предлагаю, — заключил Коба, — пусть товарищи Ногин и Серго немедленно отправятся в Центральный Исполнительный Комитет Советов и выяснят, дают ли нам абсолютную гарантию...

Ленин перебил:

— Абсолютных гарантий не бывает.

— Теорию не затрагиваю. Практики мою мысль поймут. — И Коба повторил: — Абсолютную гарантию, что не будет допущено насилие. Уклоняться от явки наши товарищи не намереваются. Но без гарантий мы их не отдадим. Так чего же терять время? Серго, пойдешь?

Серго мигом соскочил с подоконника:

— Конечно.

— Товарищ Ногин, пойдете?

— Ясное дело, пойду.

— Ну вот, Владимир Ильич, принесут гарантии, тогда станем дальше рассуждать. Что, не хотите подождать?

— Подождать можно. Однако свою точку зрения я не переменял.

— Э, случается, Владимир Ильич, что вечер мудрей утра.

Ленин оставил без внимания исправленную Кобой поговорку. И, взяв со стола свое заявление, протянул Серго:

— Передайте.

Интонация и жест непреклонны. Серго уже ранее прочитал эти строки. Теперь черные глаза вновь выхватили: «...явлюсь в указанное мне ЦИК-том место для ареста». Ничего не выговорив, Серго сумрачно кивнул.

42

Несколько минут спустя Ленин вошел к себе, то есть в выделенную ему дальнюю комнату.

Там у этажерки с книгами сидела Надежда Константиновна. Ее ничем не занятые художавые кисти покоились возле колен. Ничего не вымолвив, властвуя собой, она лишь быстро взглянула на мужа. Ильич уже не был бледен, со скул исчезли пунцовые пятна, слегка загорелое лицо восстановило здоровый цвет.

— Мы с Григорием решили явиться, — сразу произнес он. — Пойди, скажи об этом Каменеву.

— Что сделать еще?

— Еще?.. Не пропала бы моя синяя тетрадь... — и продолжал: — Подожди. Напишу ему кое-что...

Присев к столу, уже оснащенному стопкой чистой бумаги, без чего Ленин нигде не обходился, он застрочил своим скорым пером. Подойдя, Крупская глядела на строки, возникавшие из-под сильной, широкопалой руки: «...если меня укокошат, я Вас прошу издать мою тетрадку «Марксизм о государстве» (застряла в Стокгольме). Синяя обложка, переплетенная...»

«Если меня укокошат...» Верхняя крупная губа Надежды Константиновны прижала нижнюю. Вот Ильич и дописал.

— Отдай Каменеву.

— Хорошо. Она деловито сложила, упрятала записку. Так я пошла.

И повернулась к выходу. Ленин ее остановил.

— Давай попрощаемся. Может, уже и не увидимся.

Она кинулась к нему. Губы ощутили легкое покалывание подстриженных его усов. Неужели теперь она последний раз обняла Володю? Но, как велел ей долг, не обронила ни слезинки, справилась с собой, разомкнула свои руки, сжимавшие милую голову, вновь стала собранной, ушла.

...К вечеру в квартиру на 10-й Рождественке вернулись Серго и Ногин, прошагали к Ильичу, у которого находился Сталин. Владимир Ильич, оборвав незаконченную фразу, мгновенно повернулся к вошедшим. Чуть ли не с порога Серго гаркнул:

— К чертям всякие разговоры насчет явки! Никаких гарантий никто дать не смог. И мы сказали: Ленина вам не дадим!

— Мы? И Ногина в ту же веру обратили?

Ногин не без смущения подтвердил:

— Нельзя, Владимир Ильич, являться! Они там, в президиуме ЦИКа, сами не знают, не посадят ли их завтра.

Еще несколько мгновений Ленин вглядывался в обоих и в посверкивающие нетерпением черные, и в ясно-голубые радужки. Затем, как бы вновь обретя заряд энергии, он почти бегом выскочил в коридор.

— Григорий, идите сюда. Есть новости.

Возвратился, насвистывая, эдак он порой свистел в шахматных баталиях. И обратился к пришедшим:

— Ну-с, ну-с, расскажите-ка последовательно, как, гм, гм, провалилась ваша миссия... Серго, не поминать черта сумеете?

— Конечно, сумею, черт побери.

В общем смехе разряжается драматичность минуты. Пусть же не пропадет для истории эта черточка — легко возникавший среди большевиков смех. Ленин сейчас не заливался, а хохотал, как бы пофыркивая. И с напускной укоризной поматывал головой. Остановившийся в дверях Зиновьев взирал на сотоварищев с вопросительной улыбкой, которая сделала его моложе.

— Факты, факты! — став серьезным, потребовал Ильич.

Серго, дополняемый изредка Ногиным, сообщил разные подробности. Неопровержимо

вырисовывалось: соглашатели бессильны, они не в состоянии дать гарантии. Повстречавшийся случайно Луначарский просил передать Ленину, чтобы тот ни в коем случае не шел арестовываться, ибо фактически к власти приходит необузданная контрреволюция.

В какой-то момент Сталин негромко молвил:

— Пойду покурю.

— Заодно и помозгуйте.

— Чего мозговать? Все ясно, Владимир Ильич.

Коба подымливал в коридоре своей гнутой трубкой, когда у входной двери протрещал звонок. Пришла уже во второй раз нынче — Мария Ильинична. С порога кинула тревожный взгляд на Сталина. Тот продлил молчание, затем улыбнулся:

— Старика не отдадим! — И шутливо добавил: — Самим нужен.

...На следующий день Ленин написал статью «К вопросу об явке на суд большевистских лидеров». Статья заканчивалась так: «Не суд, а травля интернационалистов, вот что нужно власти. Засадить их и держать вот что надо гг. Керенскому и К°. Так было (в Англии и Франции) — так будет (в России).

Пусть интернационалисты работают нелегально по мере сил, но пусть не делают глупости добровольной явки!»

43

Владимир Ильич и еще поработал пером на квартире-вышке, передал наведывавшемуся ежедневно Кобе статью «Три кризиса». Вновь и неизменно он, большелобый неукротимый вождь большевиков, выступал как человек науки, восприимчивый строгого Марковского метода. Нелепо думать, что революционные кризисы могут быть вызваны искусственно. Революцию не породят самые горячие, архиблагие желания, если действительность, история не чревата ею. Это ключ к совершающемуся, ключ к грядущему. «Неужели трудно догадаться, вопрошал он, что никакие большевики в мире не в силах были бы «вызвать» не только трех, но даже и одного «народного движения», если бы глубочайшие экономические и политические причины не приводили в движение пролетариата?» И дал формулировку новому парадоксу борьбы, который выказал себя в июльские кризисные дни (в схватывании таких парадоксов он был покоряюще силен): «Это — взрыв революции и контрреволюции вместе».

Тем временем для обоих потаенных обитателей квартиры Аллилуевых было найдено более глухое, в стороне от питерского сыска, укрытие на станции Разлив. Решили перебраться туда воскресным ночным поездом, что отходил с маленького, расположенного на городской околице (издавна так и звавшейся Новой Деревней) Приморского вокзала.

Еще накануне Ленин попросил Сергея Яковлевича принести карту Петрограда, чтобы определить, по каким улицам безопаснее пройти на вокзал. Аллилуев сказал:

— Не беспокойтесь, Владимир Ильич. Этот путь знаком мне как свои пять пальцев. Каждый проулочек насквозь известен.

— Живали там?

— На моем попечении был районный пункт кабельной сети. И жил с семьей тут же на пункте. Излазил, исходил по всем фидерам десятки раз.

— Фидерам? Что за штуkenция?

— Если выразиться попросту, фидер — это провод к потребителю. Три фазы — три провода.

— Почему же три? — с интересом спросил Ленин. Но тотчас себя оборвал: — Впрочем, пока это оставим... Карта, Сергей Яковлевич, мне все-таки нужна.

— Да я сейчас могу нарисовать путь.

— Не сомневаюсь. Но тем не менее я сам должен знать и видеть наш маршрут на карте. Мало ли что может произойти! Вдруг в пути вынуждены будем расстаться... Словом, план Петрограда нужен мне безоговорочно.

Проглянувшая ленинская непреклонность завершила спор. Сергей Яковлевич в тот же день принес. Владимиру Ильичу план.

С утра в воскресенье оба скрывавшихся стали готовиться к походу-переезду. Следовало по возможности изменить внешность. Ольга Евгеньевна, которая по должности медицинской сестры приобрела парикмахерские навыки, быстро срезала ножницами под гребенку мелко вьющуюся шевелюру Зиновьева, потом принялась за Ленина. Несколько закосматившиеся его волосы падали рыжими острижками. Ножницы расправились и с его усами, оставив встопорщенный ворс. Бородку предстояло вовсе снять. Ловкие, в коротких рукавчиках женские мягкие руки быстро побелили мыльной пеной подбородок Ильича, вооружились бритвой и... И вдруг новоявленная парикмахерша произнесла:

— Ой, Владимир Ильич, боюсь порезать!

— Ерунда... Смелей, Ольга Евгеньевна.

Сталин, доселе безмолвно наблюдавший за происходящим, вмешался:

— Боишься, не замахивайся. Дай сюда бритву. Дело незамысловатое. Приходилось на тифлисском рынке для хлеба насущного бривать желающих. Останетесь довольны, Владимир Ильич.

Сталин попробовал на толстом ногте своего большого пальца, достаточно ли наострено лезвие. Сказал:

— Тупым ножом порежешься.

Не спеша подправил бритву на ремне. Заново намылил челюсть Ильича. И уверенными, точными движениями начал сбривать шуршащий под острием волос.

— Разделаем, Владимир Ильич, в наилучшем виде. Не узнаете сами себя.

Начисто удалив бороду, Сталин подсек бритвой краешки коротко ошетиленных усов и, закончив, глядя с улыбкой в трюмо, отражавшее измененного Ленина, отпустил шутку:

— Стрижем и бреем и кровь отворяем. С почтением — Цирюльник — Верная Рука.

Когда-то вскользь отрекомендовавшийся Хирургом Железная Рука, отдавал ли он себе отчет в некотором самоповторении, для него, пожалуй, характерном?

Сергей Яковлевич заранее припас две косоворотки и две кепки. Его бурой окраски пальто пришлось Ленину в плечах как раз, лишь длина была несколько излишней.

— Ничего! — определил Коба. — Сразу видать хозяйственного мужичка, финна. Приобрел пальто с запасцем.

Действительно, в черной косоворотке, в серой выцветшей кепке, упрятавшей выпуклости лба, в вытертом длинном пальто, широкоскулый, с увесистым крутым подбородком, с рыжей щеточкой стриженных усов, с узкими, чуть вкось прорезями глаз, вокруг которых пролегли обильные уже штрихи гусиных лапок, Ленин сейчас походил на финского крепкого крестьянина.

Еще раз его оглядев, Коба неожиданно высказался иначе:

— Нет, русский. Себе на уме дядя.

— Гм... Не выгляжу оригиналом?

Зиновьев, уже тоже обряженный в чье-то пальто и в клетчатую пеструю кепку, ответил:

— Нисколько! Копия с копии, Владимир Ильич. — Он обозрел себя в зеркале. — А я вроде бы смахиваю на коммивояжера.

— Что и удостоверяется, лаконично скрепил Стадии.

44

Часовая стрелка достигла одиннадцати. Уезжавшие и провожатые выбрались из дома черной лестницей. Еще длились блеклые сумерки северного летнего вечера. Цепочку путников, державшихся в некотором отдалении друг от друга, замешавшихся среди прохожих, вел Аллилуев, то и дело на углах сворачивая согласно проложенному на карте многоколенному маршруту. Замыкающим шел Сталин.

В каменных прогалинах меж многоэтажных отвесов медленно густела мгла. Вот еще одно колено, короткий отрезок проспекта, иссеченного трамвайными рельсами, и перед шагавшими засветлел далеко открытый глазу, смутно блистающий простор Невы. Взброшенные на чугунных столбах шары фонарей озаряли набережную. Сверкающий электропунктир был перекинут и через реку, выделяя металлическую черноту моста.

Ленин надал хода, обошел Аллилуева и широким шагом, круто выперев по своему обыкновению левое плечо, будто этим плечом проламывая дорогу для идущих вслед, ступил на мост, мягко застучал ботинками-бульдожками по дощатому настилу. Здесь былолюднее, чем на улицах, слышался говор, порою и смех пешеходов, проезжали туда и сюда извозчичьи пролетки, дребезжали, трезвонили плотно набитые пассажирами трамваи. Сталин легкой поступью нагнал Зиновьева, сказал:

— Старик любит ходить быстро. Придется поспешать и нам. Рослый обладатель клетчатой кепки и низкий грузин, ничем не покрывший жестковолосую голову, зашагали рядом.

Бледно-мерклое небо отблескивало в колыхавшемся темноватом зеркале реки. Были различимы приземистая громада и характерный тяжеловатый шпиль Петропавловской крепости. Взгляд охватывал и почти воздушные, смутно голубевшие очертания Зимнего дворца, и будто твердой рукою прорисованные, не зыбкие даже в ночной призрачности силуэты зданий Сената, Синода, Морского кадетского корпуса. Зиновьев тихо выговорил:

— Бастионы...

Сталин откликнулся:

— Угу... Петруха крепенько всадил тут городок.

— Кто?

Сталин спокойно повторил:

— Петруха.

Зиновьев сыронизировал:

— А я думал — ваш кум... Императору всея Руси мы, дорогой Коба, не годимся в кумовья.

Его спутник не ответил, продолжал путь молча.

Вот мост и пройден. Далее маршрут вился по не оживленным в этот час улицам Выборгской стороны. Тут Ленин придержал шаг, опять пропустил вперед сутулого длинного электрика — знатока местности.

Несколько минут шли Большим Сампсониевским проспектом. Свернули. Прошагали вдоль растянувшихся на два квартала корпусов завода «Русский дизель». Узкий проулок вывел к излучине Невки. На земляном задернелом обрывистом берегу громоздились кучи бревен и теса, выгруженные из приткнувшихся здесь барж. С противоположного берегового склона рядами темных окон проглядывал еще один завод.

— Бастионы, — вновь произнес Зиновьев, по-прежнему шедший в паре с Кобой.

Тот лишь утвердительно кивнул. Умевший помалкивать, он не тщился оставить последнее слово за собой, легко уступал другим такого рода удовлетворение.

Ни лязга трамваев, ни цоканья подков сюда не доносилось. В отдалении слышалась гармонь. Деревянные домики, иной раз в палисадниках, перемежались с кирпичными коробками. Редко-редко попадалось освещенное окошко. Вкопанные кое-где у калиток скамейки были большей частью пусты.

Ленин вновь настиг Аллилуева.

— Устали, Сергей Яковлевич?

— Нет. Ноги, слава богу, еще носят.

— Но почему же так плетемся?

— Рано прийти, Владимир Ильич, тоже нет резону. Чего мыкаться на станции?

— Не запоздать бы!

— Все, Владимир Ильич, будет как в аптеке. Вот у фонаря сверимся с часами.

Войдя в круг света, отбрасываемого укрепленной на столбе электролампочкой, Сергей Яковлевич достал объемистую серебряную луковицу, откинул крышку, взглянул, улыбнулся:

— Идем по расписанию.

Ленин, однако, вытащил на свет из-под долгополого пальто пристегнутые почти невидимой тоненькой цепью к жилетному кармашку свои плоские вороненой стали часы, что служили ему и в Швейцарии, проверил показания циферблата, запустил глаза в раскрытую

аллилуевскую луковицу. И все-таки подхлестнул:

— Так чего же мы стоим? Пошли, пошли.

Уже на ходу Сергей Яковлевич произнес:

— Мои столбишки. Мы здесь ставили проводку в тысяча девятьсот десятом... Хотел показать вам на Сампсониевском мой районный пункт, где прожил четыре года, но засомневался — неконспиративно.

— Да, это было бы неосторожно. — Ступая в ногу с Аллилуевыми, Ленин спросил: — А что же представлял собой ваш районный пункт?

Поощряемый нотками живого интереса, Сергей Яковлевич охотно вдался в описания, объяснил, прибегая к профессиональным словечкам, устройство приборной доски и предохранительных выключающих аппаратов. А Ленин все дознавался: и что такое фаза, и как действует реле, и почему иной раз не срабатывают предохранители.

Жилка привязанности к своему делу, некая страсть самородка-мастера сквозила в ответах Аллилуева. Помогая себе худощавыми пальцами, он старался наглядно изложить, в чем же состояла недостаточность, примитивность защитных конструкций прошлых лет.

— Теперь, Владимир Ильич, не то. За войну мы сменили аппаратуру. Новая свое исполняет.

— Что же именно?

— Во-первых, моментально автоматически выключает больной участок. Во-вторых, только этот участок, не нарушая питания энергией большинства потребителей. Но сейчас мы помышляем уже и о другом. Это будет штука стоящая.

— Ну, ну... О чем же помышляете?

— О такой аппаратуре, которая сама знает, что можно делать и чего нельзя. В Германии это уже вводится. Скажем, ежели дежурный по рассеянности или сдуру пожелал бы сделать неправильное включение, то автоматическая система ему в этом откажет. Она исполняет только верные приказы.

Неожиданно Ленин рассмеялся;

— Ловко! Исполняет только верное! Наклонившись к спутнику, шепнул: Эх, нужна была бы нам такая вещь для управления будущим нашим государством. Хотя бы на первых порах примитивная и недостаточная! — Другим тоном спросил: — А каковы обязанности дежурного по станции?

Сергей Яковлевич опять пустился в разъяснения. Так они и шли, занятые разговором, по пустынным ночным набережным изогнутой Невки. Даже если бы кто-либо уловил их голоса, смог бы лишь отметить: идут, беседуют о специальности, что рождена электростанциями.

— Да, без души тут нечего и браться, — сказал Ленин. — Вчуже вам архи-позавидуешь.

— Как раз вы с вашим характером превосходно бы управились. Аккуратист. Ничего на веру не берете. Свой глаз — алмаз.

— А что? Если бы не обручился со своим... гм, гм... занятием, пошел бы, ей-богу, по электрической стезе. Захватывающая, черт возьми, профессия. Взрывающая прежний обиход, прежнюю технику. А то ли еще будет, когда... Впрочем, молчок... Так какие же у вас на станции назрели дальнейшие нововведения?

Снова Сергей Яковлевич говорил, Владимир Ильич слушал, вставляя беглые вопросы.

Впереди над невидимыми крышами проступило бледное пятно, расплывчатый блик огней Приморского вокзальчика, еще не угомонившегося, не отправившего ночной дачный поезд, что захватывал из города поздних воскресных гуляк. Постепенно отсветы становились явственней. Беседа прервалась. Путники опять расположились гуськом, потянулись за Аллилуевым, незаметные среди усилившегося здесь движения. Вот, опережая проводника, мелькнул неслышной легкой тенью Коба. Он уже побывал тут днем, заранее осмотрел условленное место встречи под тремя свешивающимися к Невке ивами, несколько поодаль от вокзала. В этой точке должен был ждать уезжавших рабочий-оружейник Сестрорецкого завода Емельянов, кому предстояло у себя в Разливе дать новое убежище скрывавшимся. Сейчас из густой темени поникших ив негромко прозвучал меченный неискоренимым акцентом голос Кобы:

— Сергей, сюда!

Минуту спустя Ленин уже пожимал словно затверделую большую руку крупнотелого слесаря-сборщика, некогда служившего унтер-офицером в артиллерии, куда отбирали силачей. Во тьме было смутно различимо рассеяски круглоносое, усатое лицо оружейника, приходившегося ровесником Владимиру Ильичу. Емельянов уже купил билеты, раздал Зиновьеву и Ленину. Предложил провести Ленина к поезду кружным путем меж товарными составами, в обход освещенного дощатого перрона, где шла толчея посадки.

— Что ж, двинулись, — проговорил Ленин.

Маленькие, монгольского рисунка глаза, выдавая волнение, поблескивали под козырьком кепки. Сергей Яковлевич обнял его за плечи.

— Владимир Ильич, разрешите вас поцеловать.

— Нет, нет... Это будет... гм, гм... неконспиративно. Давайте, друг мой, пятерню!

Потом Ильич вновь обратился к Емельянову;

— Ну-с, батенька, вперед! Показывайте дорогу.

Вскоре обоих поглотила мгла. Зиновьев, сопровождаемый чуть отдалившимися Аллилуевым и Кобой, зашагал напрямик к перрону. Обогнул явно нетрезвого господина, направлявшегося враскачку к поданному составу, миновал две женские фигуры в светлых длинных нарядах и растворился в путанице тьмы и огней. Затем в одном из окон последнего вагона возникла его клетчатая пестрая кепка. На миг показавшись, успокоительно кивнув — все-де благополучно, — он канул в неясную вагонную глубь.

Сипло проревел паровозный гудок, возвещая отправление. В этот миг, откуда ни возьмись, Ленин энергично проскочил к последнему вагону, рывком взбросил себя на площадку.

В раскрытой двери уплывающего тамбура еще несколько мгновений виднелась его коренастая фигура в длиннополном пальто. Знакомо упрямым оставался наклон головы, о которой, как знает читатель, когда-то было сказано; этот череп имеет намерение пробить стены.

Сергей Яковлевич сжал локоть Кобы. Оба смотрели на удаляющийся красный фонарик хвостового вагона.

— Не отдали Старика! — произнес Сталин. И, будто ничто не могло его растрогать, повторил собственную шутку: — Самим нужен.

С тех пор унеслось почти полтора месяца.

В комнате Кобы сидят стриженный под машинку Серго (он снял свою всегда точно бы взбитую, приметнейшую шевелюру, чтобы не навлекать на себя внимания, когда ездил в Разлив к Ленину) и раздумывавшийся, возбужденный встречей Кауров в студенческой тужурке. Сталин мерно ходит, попыхивая короткой гнутой трубкой. Кауров рассказывает про иркутские дела.

Его прерывает легкий стук в дверь. Коба откликается, как бы понукая:

— Ну!

Дверь отворяется, порог переступает смуглая большеглазая девушка. Во взгляде, да и во всем очерке удлинённого лица есть какое-то особенное свойство: не исчезающая вопреки живой улыбке серьезность. На слегка округленную загорелую щеку падает косая узкая полоса солнца, делая заметным совсем юный пушок. Черные волосы заплетены в две косы: одна свешивается сзади, другая перекинута через плечо. Каурову вдруг вспоминается: вот так же носила свои косы молоденькая Като, жена Кобы. Впрочем, не совсем так: одна коса Като была уложена вокруг головы, но другая как раз чернела спереди, повторяя мягкую выпуклость платья. Кауров невольно смотрит на Кобу, видит, как его глаза, сейчас сощуренные нижними веками, взирают на вошедшую. Кто же она? И лишь в следующий миг приходит узнавание-угадка: это же Надя, меньшая в семье Аллилуевых. Это же ее ровно вытянутый, в отца, нос, будто вырастающий прямо из лба, ее просвечивающее сквозь жизнерадостность, унаследованное тоже у отца некое подвижническое выражение.

Перейдя в последний класс гимназии, прозанимавшись весь учебный год и в музыкальной школе, Надя провела лето под Москвой в семье инженера-большевика Радченко, с которым еще в Баку близко сошелся большевик-слесарь Аллилуев. Лишь вчера она вернулась.

Уже видевшись нынче и со Сталиным и с Орджоникидзе, Надя теперь радостно здоровается с бывшим репетитором своей сестры:

— Алексей Платонович, вот вы и опять у нас! Меня сначала не узнали? Да? Стала длинная, как папа!

Кауров пожимает ее суховатые, в царапинках, как у подростка, пальцы.

— А вы, Алексей Платонович, все такой же... Такой же... — Надя затрудняется в поисках слова.

— Простота-парень? — подсказывает Серго.

Она находит собственное определение:

— Чистосердечный.

Кауров трогает рукой, показывает свою макушку, где просвечивает розоватый кружок.

— Уже, Наденька, в лысые записываюсь... Лысый студиоз.

Опустив трубку в карман брюк, Коба прислонился к круглой, обшитой жестью печке. Так и

стоит, прижмурясь, в недавно купленном, еще свежем пиджаке со втачными в лацканы черными бархатными вставками. Вот он легонько отталкивается заложенными назад ладонями, вновь приникает спиной к печке и опять отталкивается. Этак покачивая себя, что явно служит знаком распрекрасного настроения, нечастого у Кобы, он прислушивается к разговору.

Надя с улыбкой — эта улыбка выказывает красивые, блистающие белизной зубы продолжает:

— Мама велела звать всех в столовую.

— Обождет! — роняет Сталин. Грубоватость даже в минуты довольства остается его второй натурой. Еще тут потолкуем.

— Дядя Сосо, а мне у вас можно посидеть?

— Садись. Не помешаешь.

Она забирается с ногами, обутыми в домашние легкие туфли, в дальний угол крытой бордовой обивкой оттоманки. Эту оттоманку — широкий диван с подушками, заменяющими спинку, первое приобретение молодоженов Аллилуевых — мама словно бы в память большой безоглядной любви, заставившей ее, четырнадцатилетнюю, тайком покинуть полный достатка отчий дом ради жаркого не по годам чувства к молодому мастеровому-революционеру, всюду возила с собой. И поставила сюда, в комнату, где укрывался Ленин.

Оттененные длинными прямыми ресницами, серьезные и как бы таящие удивление глаза Нади обращены на Сталина. Мама уже вчера, переходя то к делу на шепот, не удерживалась от восклицаний, экспансивного всплескивания руками, поведала ей, притихшей младшей дочери, целую повесть о том, что тут, под этим кровом, произошло во вторую неделю июля. Повесть начиналась минутой, когда дядя Сосо позвонил в госпиталь и вытребовал маму домой. Затем следовали всякие подробности о поселившемся здесь Ленине, кончалась повесть опять же дядей Сосо, Цирюльником Верная Рука, который вместе с папой проводил скрывавшихся к воскресному ночному поезду.

Вот он, стоя у печки, все покачивается взад-вперед с явным удовольствием, о которой свидетельствует и точно бы кошачий прижмур, несколько стушевывающий редкостную для грузина твердость черт, давний друг семьи, давний квартирант Аллилуевых, то надолго исчезавший, то внезапно появлявшийся, вошедший в Надино детство незабываемыми взблесками. Разве забудешь, скажем, как он пальцами-тисками защемил ее ноздри? Да, защемил. И она выдержала испытание.

Привелось и в миновавшие недели каникул порой слышать о нем. Инженер-большевик Иван Иванович Радченко зачастую оставлял дом — странствовал в Шатурских болотах, взяв поручение Московской городской управы двинуть торфозаготовки. Надя привязалась к его жене, наполовину шведке, Алисе Ивановне и к девятилетнему Алеше, то же, как и мать, беленькому, розовощекому. В дачный мирок волнами доплескивал большой бушующий мир: июльские события, разгром и запрет «Правды», приказ об аресте Ленина, с которым, кстати сказать, еще в 1900 году в Пскове сблизился Радченко. Июль перевалил за середину, когда Иван Иванович в распахнутой черной тужурке, в украинской вышитой рубашке, в сапогах наведалься к семье с торфоразработок. Среди множества газет он привез из Москвы и невзрачную кронштадтскую «Пролетарское дело». Там на видном месте была напечатана статья «Смыкайте ряды» за подписью члена Центрального Комитета Российской социал-демократической партии К. Сталина. Именно в этот тягостный, опасный для партии момент, как бы противостоя распространившимся смятению и подавленности, Сталин впервые в своей деятельности счел нужным подписаться именно так. Иван Иванович прочел

вслух эти столбцы жене и шестнадцатилетней петербургской гостье, пристроившейся тут же у стола.

Надя вслушивалась в определенные, словно грубой выделки, без разнообразия оборотов, отражавшие что-то сильное даже и своей негибкостью слова далекого дяди Сосо: «Теснее сплотиться вокруг нашей партии, сомкнуть ряды против ополчившихся на нас бесчисленных врагов, высоко держать знамя, ободряя слабых, собирая отставших, просвещая несознательных».

На дачу к Радченкам вскоре заехал осанистый, вдумчиво посматривавший сквозь пенсне Ногин, один из участников только что закончившегося Шестого съезда партии. Наде показалось, что он с каким-то особенным вниманием на нее взглянул, когда Радченко, подзвав ее, сказал: «Знакомьтесь, Виктор Павлович. Это Надя Аллилуева». О чем два большевика говорили наедине, она, конечно, не знала. Но за общим ужином опять услышала имя Кобы. Тут же была упомянута коробка папирос «Ой-ра». Лишь ее Сталин держал в руке, когда шел к трибунке, чтобы выступить с отчетным докладом Центрального Комитета. Раскрыл, положил перед собой этот коробок — на внутренней стороне крышки уместился весь конспект доклада. Теоретика из себя не строил, не возвещал новых идей, говорил как верный твердый последователь Ленина, пребывавшего в подполье. Наде тогда подумалось: неужели речь идет о том самом дяде Сосо, нередко обросшем, который, бывало, трунил над девочками Аллилуевыми, весело к ним обращался: Епифаны-Митрофаны?

Ногин рассказывал и нет-нет опять как-то очень тепло взглядывал на дочь Аллилуевых. И только вчера, когда мама шепотком открыла своей младшей тайну квартиры-вышки, послужившей убежищем для Ленина, Наде стало ясно, почему обращенные к ней глаза Ногина были так теплы. Ведь сюда к Ленину приходил и Виктор Павлович. А дядя Сосо тогда всякий день здесь находился, еще и проводил скрывавшихся на поезд.

Теперь он, не покидая местечка у печки, помалкивает, посматривает на забравшуюся в уголок оттоманки Надю.

46

Достав из кармана трубку, Коба прошагал к столу, выбил в массивную каменную пепельницу загасшие остатки курева и, втискивая коричневатой, как бы прокопченной подушечкой большого пальца в чубук свежую порцию темного, крупной резки табака, обратил взгляд на Каурова. И протянул:

— Лысый студиоз?

Хотя истекло уже несколько минут, как Платоныч этак себя отрекомендовал, Коба лишь теперь переспросил. Видимо, не упустил ни словечка, но до времени держал в уме. Сейчас неспешно раскурил трубку, выпуская и ртом и ноздрями запутывающийся в усах дым. После паузы продолжал:

— Опять зачислился в студенты? Совсем, что ли, в Питер перебрался?

— Кажется, смогу остаться. — Выдерживая долгий взор веселых, будто вовсе без прожелти глаз, Кауров невольно прибеж к своему: Какая штука...

Коба вставил поговорку:

— Кажется, каша, а на дне-то горох. И поощрил: Ну!

Кауров объяснил, каким образом удалось разделаться с солдатским званием, вырваться из Сибири.

— Снова пристроюсь в университет. Но, конечно, не учиться! Доучусь когда-нибудь. А пока... Буду, Коба, в драке не последним! Хотелось бы пойтн в газету. Сколько сумею, помогу!

— Да и на митингах он не потеряется, — сказал Серго.

— Товар знаю. Реклама не нужна.

— Сколько сумею, помогу, — повторил Кауров.

— Не торопись. Сталин пыхнул трубкой, прошелся. Сначала доскажи про иркутские дела.

Вчерашний солдат-сибиряк, преобразившийся в студента, вернулся к рассказу об Иркутске. С меньшевиками до сих пор не размежевались. По-прежнему существует объединенная социал-демократическая организация. Неоформленное немногочисленное большевистское крыло старается влиять на промежуточные колеблющиеся элементы, не дает воли ярым оборонцам внутри объединения.

Сталин резко сказал:

— Никаких объединений с социал-тюремщиками! Неужели этого не понимаешь? Надо рвать!

— Я-то понимаю, но другие...

— Что другие? Хочешь воздействовать на колеблющихся, перестань колебаться сам. Это не мои слова. Взял их у Старика. Рвать, и только! В этом, как и во всем, он прав.

— Ильич?

— А кто же?

— Но ты ведь...

У Каурова едва не вырвалось: ты говорил совсем другое. Сталин мгновенно разгадал недопроизнесенную фразу. И, не вынимая из сжатых зубов трубку, бормотнул:

— Да, мы не сразу поняли его тезисы. — Усы окутались выпущенным через нос дымом. Затрудненно сгибавшаяся левая рука потянулась к чубуку. — Прав был во всем. Ну, Того, продолжай. Кто там из большевиков подтверже?

Кауров назвал, охарактеризовал нескольких товарищей. Сталин интересовался подробностями, легко воспринимал юмор, смеялся.

Затем разговор перескочил на иркутских анархистов. Они там довольно сильны. С ними приходится драться.

Снова вмешался Серго:

— А я, признаться, радуюсь, если на трибуну вылезает анархист. Это всегда прекрасный случай растолковать наш взгляд на государство, всю программу Ленина. И от анархистов только летит пух.

— Да, подтвердил Коба, анархизм вянет, когда мы выдвигаем тезис: государство без армии, без полиции, без чиновничества.

Кауров вновь уставился на Кобу. В голубоватых глазах сквозил вопрос: ты же именно из-за

этого окрестил Ленина Ламанским. Как тебя уразуметь?

Скупое на мимику, худощавое смуглое лицо оставалось спокойным. Сталин, чудилось, даже не уловил вопрошающего взгляда. Впрочем, несомненно, заметил. Но ответил только равнодушием. Сказано же: не сразу поняли. Единожды выговорено, и хватит! Манера пошагивать, покуривать была по-прежнему неспешной.

— С этим идем на выборы в Учредительное собрание, продолжал он. — Того, мою статью к выборам читал?

Пришлось не без смущения ответить:

— К выборам? Какая штука... Не дошла.

— Ехал, ехал, разминулся. Что же, экземпляр для тебя найдется.

Сталин подошел к стоявшей у оттоманки тумбе, улыбнулся безмолствовавшей Наде, шуточно дернул черную косу, что, как и раньше, была перекинута через плечо, открыл дверцу, порылся и быстро извлек, развернул понадобившуюся газету. Его статья «К выборам в Учредительное собрание» занимала три колонки на первой странице. Положив лист на скопище книг, закрывших верхнюю лакированную доску тумбы, он твердым толстым ногтем отметил какое-то место в статье, почти прорезая непрочную рыхлую бумагу. И подал своему Того.

— Просвещайся. Посмотри.

В статье с присущей Кобе сухой ясностью были по пунктам изложены воззрения и требования большевиков. Грубо проведенная ногтем черта охватывала следующие строки:

«11. Мы за народную республику без постоянной армии, без бюрократии, без полиции.

12. Вместо постоянной армии мы требуем всенародного ополчения с выборностью начальников.

13. Вместо безответственных чиновников-бюрократов мы требуем выборности и сменяемости служащих.

14. Вместо опекающей народ полиции мы требуем выборной и сменяемой милиции».

Обладатель круглой лысинки склонился над статьей. Коба отчеканил:

— Потому у вас анархисты и сильны, что вы доселе путаетесь с меньшевистской гнусью. Наказание поделом!

К газете подался и Серго.

— Могу сказать тебе, Платоныч, Ильичу статья Кобы понравилась. Знаем от надежного товарища: прочел и ходил вприпрыжку. И от нас требует: скорее к делу! К революции!

— Плод в свой срок созреет, — сказал Сталин. — Газету, Того, забирай. Вези с собой в Иркутск.

— В Иркутск? Я же вырвался сюда. Ведь здесь все будет решаться.

— И все-таки придется тебе ехать обратно.

— Разве тут буду не нужен?

— Посуди сам. Да, Питер — ключевой пункт революции. Но из одного полена костра не разведешь. Россия велика. Потерять Сибирь или Кавказ мы не намерены. Затем Сталин припомнил еще поговорку, на этот раз восточную: — Расплескать воду легко, собрать ее трудно. — Погладил ус чубуком загасшей трубки. — Серго вот отпускаем в Закавказье. Кстати, там у родственников оставит свою бабу. А то очень уж с ней носитя.

Серго укоризненно воскликнул:

— Коба! Хоть Надю-то побойся!

— Ничего. Пусть знает, что я такой-сякой, намазанный...

Надя не откликнулась, не шевельнулась, широкие блестящие глаза опять как бы с удивлением разглядывали худенького, малорослого, в закрывавших шею черных бархатных вставках, то медлительного, то гибкого, быстрого грузина.

— Ну, пустяки к черту, — продолжал он. — Возвращайся, Того, в Иркутск. Там ты солдат, член Исполкома. Фигура. Сила. А тут ты кто? Ни два ни полтора. Почти что стрюцкий.

— Стрюцкий? Это что?

— Такие водятся и у нас в партии. — Коба повернулся к тумбе, где громоздилась беспорядочная стопка книг, хотел, видимо, какую-то взять, но передумал. — Ладно, об этом после... Мы как раз намечаем отправить из Питера в Сибирь нескольких наших людей. Какой же резон тебя здесь оставлять?

Возражений не отыскивалось. Короткие аргументы Сталина были несокрушимо логичны. Кауров молчал.

— Возвращайся и гни ленинскую линию. Рвать! Обособляться! — Пройдись, Сталин добавил: — Но сделайте это с умом, не по-простецки. Требуется подготовка. Не спешите. Время есть. Соберите кулачок. Кой-кого пришлем. Но и не тяните. Случай всегда подвернется. И тогда бац без предупреждения! Полный разрыв с меньшевиками. Свой комитет, свои ячейки, своя газета свои фракции в Совете, в профсоюзах, всюду. И все это единым махом. Вдруг. Согласно Чехову. Не помнишь? Мужик и ахнуть не успел, как на него медведь напал.

— Коба, персонаж Чехова взял эти слова из басни Крылова, — мягко поправил Кауров.

— Ага... — протянул Коба. — Вдвойне весомо... — Повторил: — Мужик и ахнуть не успел, как на него медведь напал. — Не затрудняя себя какой-либо переходной фразой, продолжил: — Иди завтра в Цека, проинструктируйся, прихватишь и литературу. И наострой лыжи обратно. Не валандайся.

— А как же с моими документами?

— Ну, покажи.

Отпущенный из армии нижний чин вынул из тужурки бережно хранимое заверенное военной гербовой печатью свидетельство о демобилизации, выданное, как значилось, на основании соответствующего правительственного циркуляра. Глаза Кобы пробежали по строчкам.

— Бумагу повернем по-своему. Дело несложное. Отложи на год явку в университет. Бери отсрочку.

— Я бы взял, но университетская канцелярия меня, наверно, помытарит. День за днем буду ходить.

— Я бы взял, но университетская канцелярия меня, наверно, помытарит. День за днем буду ходить.

Присев к столу, Коба вооружился ручкой и стал писать наискось документа, прочитывая вслух свои выведенные крупным островатым почерком слова:

— Согласно договоренности с тов. Кауровым он восстановится в правах студента через год. Вот и вся недолга. А в будущем году, хо-хо, вспомнится ли тебе эта бумажка? Подпишусь просто — за секретаря. Звание, русскому оку привычное, секретарями держится Россия. И инициалы: Д. С.

— Почему Д. С.?

— Дядя Сосо, — расшифровал Сталин.

Наконец-то отозвалась Надя. Вскинувшись, она по-детски заплескала в ладоши.

Наконец-то отозвалась Надя. Вскинувшись, она по-детски заплескала в ладоши.

47

Провожальный в честь Серго ужин не обошелся без Авеля Енукидзе, который, разумеется, прибыл не с пустыми руками, добавив к столу еще две бутылки грузинского вина. Одетый в гимнастерку без погон, статный, большеухий, с загибающимися вверх в прирожденной улыбке уголками сочных губ, он шумно, с грузинским акцентом, даже более резким, чем у Кобы, всех приветствовал, а с Кауровым по случаю нежданной встречи обнялся и расцеловался трижды, будто коренной русак.

Не садясь, АVELЬ поделился впечатлениями дня. Он нынче с утра шастал по заводской окраине, навиделся и наслушался. Да, можно не сомневаться, что на сегодняшних выборах в городскую думу рабочие и солдаты крепко поддержали наш список.

Завязался общий разговор.

Сталин, не обронивший пока ни одной реплики, выглядел и теперь благодушным, удовлетворенно хмурился. АVELЬ выбрал себе место в застолье между Кауровым и Аллилуевым. Рядом черно блестяло пианино, купленное для девочек или, верней, главным образом для Нади, увлеченно и старательно одолевавшей курс музыкального училища. На стенах в темных рамах красовались два больших фотопортрета: Сергей Яковлевич, снятый, видимо, десяток лет назад, дородный, с густой на зависть бородой, в крахмальном воротничке и галстукe, куда-то сосредоточенно взирающий, и Ольга Евгеньевна, неожиданно на снимке вовсе не полненькая, а с острыми чертами, с тенью впадин на щеках и под беспокойными, напоминающими чем-то цыганку глазами.

Разлили прозрачное светлое вино, Сергей Яковлевич поднялся и предложил выпить за дорогого Серго, который всегда говорит и поступает лишь по совести, за его Зину, ставшую и для нас другом, пожелал им счастливой дороги. Весело зазвенели бокалы гордость хозяйки.

Коба чокнулся с Серго и кратко молвил по-грузински:

— Дай Бог тебе победу!

Это грузинское на расставание присловье было тут знакомо даже и обеим дочкам

Аллилуевым. Лишь уроженка Якутии широкоскулая Зина не поняла восклицания, вопрошающе смотрела на Кобу. Тот, однако, по-восточному не удостоил женщину вниманием, невозмутимо молчал. Засмутившейся вдруг Зине Надя, сидевшая рядом, шепнула перевод. Они, сибирячка-учительница и петербургская гимназистка, и далее перешептывались, зачиналась их приязнь.

Надя, впрочем, сиднем не засиживалась, вскакивала, помогала маме вести стол. Вот возбужденно покрасневшая, похорошевшая Ольга Евгеньевна, сопровождаемая своей младшей, внесла из кухни коронное блюдо сегодняшнего ужина — жареную, истомившуюся в духовке курицу, уже разрезанную на куски, возлежащие среди соблазнительно желтоватого, пропитанного жирком риса. Коба раздвоенным на кончике носом втянул запах:

— Ну, Ольга, разодолжила... Лучшее на свете кушанье.

— Благодарю кулинарку. Надя сегодня решила блеснуть ради Серго.

— Мама, зачем хвалить, если никто еще не пробовал?

— За нами дело не станет, — произнес Коба.

Он ухватил коричневатую подпекшуюся ногу, затем набрал несколько ложек риса. Под застольный говор курица разошлась по тарелкам. Коба не воспользовался ножом, запустил зубы в куриную мякоть, держа суживающийся конец попросту пальцами. Прожевывал, запивал глоточками вина. Нашел сильное выражение, чтобы изъяснить хвалу:

— Хотел бы я на своей свадьбе иметь такую курицу!

Авель мгновенно откликнулся:

— Что ж, мы тебя женим. Есть тебе невеста. Как раз сегодня ее видел. Конечно, передала тебе привет.

— Кто такая?

Шумок улегся. Все заинтересовались. Надя, уже опять занявшая место рядом с Зиной, медленно повернула голову к Авелю. Ольга тоже перестала есть.

А весельчак Золотая Рыбка разжигал любопытство:

— Угадай. Тебе под рост и под лета.

Коба невозмутимо прихлебнул винца.

— Ну, кто же?

Продержав всех в неведении еще минуту, Авель объявил:

— Мария Ильинична. Твоя Маняша.

Коба хохотнул:

— Тут, сват, ты промазал. Дадут нам с тобой по шапке.

Авель продолжал балагурить:

— А я говорю: дело может сладиться. Она два раза собиралась замуж. Но с одним женихом Владимир Ильич разошелся по аграрному вопросу, с другим — насчет самоопределения наций! И уж не до свадьбы! А тебе, Коба, все карты в руки.

В туске глаз Сталина, будто не отражавших света, ничего нельзя было прочесть. Не помня себя, побледнев, выброшенная какой-то силой, прямоногая, сейчас вдруг ставшая особенно похожей на отца, словно перенявшая строгий его облик, Надя, в упор глядя на Енукидзе, негромко, не истерично, внятно ему бросила:

— Стыдно смеяться над такими людьми!

И, оттолкнув стул, вынеслась из комнаты.

— Господи, что с ней? — воскликнула Ольга Евгеньевна. — Извините.

И побежала вслед за нарушившей веселый черед ужина дочкой.

Орджоникидзе не смолчал:

— Молодец девочка! Тебе, Авель, так и следует!

Авель смущенно развел почти не принимавшими загара, белыми мягкими руками.

— Пойду объяснюсь...

— Не трепыхайся, процедил Сталин.

Авель подчинился, не покинул стола. Коба неспешно извлек из кармана коробку папирос.

— Закурим.

Вскоре он выпустил клуб дыма и, сильно дунув, последил, как рассеивается сизая кудель. Его сонный или туповатый в эту минуту вид служил, что и по прежним временам было ведомо Каурову, своего рода броней, через которую не сквозил внутренний мир. О чем Коба сейчас думал, как отнесся к происшедшему, оставалось тайной. Он прошелся взглядом по смуглому кругловатому лицу заметно обеспокоенной старшей дочери Аллилуевых.

— Епифаны-Митрофаны... Подливай, Аня, гостям. Хозяйничай.

Ужин, разговор, казалось, пойдут дальше своей колеёй, будто и не было девичьей вспышки. Серго с этим не помирился. Он, решительно встав, тоже, как и Ольга, пошел к Наде.

Коба молча покуривал.

Минуту-две спустя Серго появился вместе с Надей. Каурову запал в память этот миг. Коротко стриженный Орджоникидзе улыбался. Улыбка играла и в глазах, и в явственно проступившей ямочке на подбородке, и в задорном разлете усов, которых почти касался кончик мясистого, выгнутого горбом носа. Большой дланью он обнимал Надю за плечи. Она еще переживала мгновение своего взлета, глядела, дичась, из-под лба, над которым белела в гладком зачесе прямая черточка пробора. Губы еще были обиженно по-детски надуты, но вот они дрогнули в улыбке. Одна коса по-прежнему ниспадала через плечо, выделяя изгибом, как и раньше, мягкую выпуклость платья. К ней, девушке-подлетку, потянулись руки Зины.

Вскоре опять хлопотала у стола Ольга Евгеньевна. Ей помогали дочери. Опустошенные тарелки были заменены чайной посудой. Занялись и мужские руки, чтобы внести из кухни самовар. Не позволив Сергею Яковлевичу утруждать себя этим, Авель легко втащил,

водрузил булькающий, поблескивающий медными округлостями, исконно русский кипятильник.

— Наш пострел везде поспел, — незлобиво сказал Коба.

К нему вернулось хорошее настроение. Он опять весело поглядывал, пошучивал, глоточками тянул вино. Не отверг и чая. Ольга Евгеньевна заметила всплывшую длинную чайнку в стакане, который протянула ему. И хотела ложечкой ее извлечь. Сталин отмахнулся:

— Сойдет. На Руси чаем еще никто не подавился.

Подала реплику Зина:

— А у нас это считается приметой. Нечаянная радость.

— Слыхивал, — проронил Сталин.

Попивая чай, он лакомился иззелена-черным ореховым вареньем, присланным с какой-то оказией из Грузии.

Выдался промежуток молчания. Минуту-другую никто не заговаривал. Неожиданно Сталин предложил:

— Споем! — Посмотрел на Каурова. — Споем, сибиряк, тебе напутную.

По привычке конспиратора, что у него была, хочется сказать, извечной, плотно затворил окно. И без дальнейших предисловий неузнаваемо чистым, как бы освободившимся от постоянной сипотцы, верным голосом повел:

Ревела буря, дождь шумел,

Во мраке молнии летали.

За столом дружно подхватили:

И непрерывно гром гремел,

И ветры в дебрях бушевали...

Помолчав, Сталин опять положил руку на плечо Каурова:

— Тебе напутная... Не праздну, Того, проживем на свете!

Вынул папиросы, закурил. Раскрыл окно. Уселся.

— Начала, Надя, так продолжай. Отчебучь нам что-нибудь на этой штуковине.

Дымящимся окурком он указал на пианино. Надю не смутил этот его самобытный стиль. Не чинясь, она села за инструмент. И уведомила:

— Шопен.

В ее репертуаре были шопеновские плавные вальсы и пронизанные раздумьем баллады, но сейчас она заиграла пламенную бурную мазурку. Окончив, повернулась. Раздались хлопки, слова одобрения. Однако Надя смотрела лишь на дядю Сосо, опять по-кошачьи жмурящегося, ждала его высказывания. Он весело произнес:

— Этот Шопен — настоящий кавказец!

Улыбка приоткрыла Надины ярко-белые зубы. Подумав, она объявила:

— Бетховен.

С подъемом, будучи, что называется, в ударе, Надя исполнила темпераментную трудную сонату. Опережая похвалы других слушателей, Коба воскликнул:

— И Бетховен тоже кавказец!

49

После музыкальной части опять завязался общий разговор. Сталин пригляделся к Орджоникидзе;

— Ты, Серго, сегодня что-то не в себе. Где-то витаешь...

— Душа, черт дери, не на месте. Лечу уже мыслями в Грузию.

— Летишь? А меня, признаюсь, туда не тянет. Корней там не оставил. Мои корни здесь.

— Кто же только что зачислил композиторов в кавказцы? А сам-то уже не кавказец?

— По крови кавказец, но ставший русским.

В беседу вмешался Кауров:

— Коба, нравственно ли отринуть свою национальность? Не пострадают ли, какая штука, нравственные основы личности?

Этот вопрос задел, видимо, Кобу. Он резко ответил:

— Не запутывайся в абстракциях! Разберись конкретно. Какая нация? В какую эпоху? Ныне есть в мире нация, стать сыном которой не зазорно, не безнравственно для пролетарского революционера. — Повторил с силой: — Для пролетарского революционера, откуда бы он ни был родом! Эта нация — русские! Россия теперь прокладывает путь человечеству. И я русский! Русский кавказец! Но не серединка на половинку, не из стрюцких...

— Коба, кстати... Что ж такое стрюцкий?

— Один писатель объяснит тебе это лучше меня. — Сталин было привстал, но переменял намерение. — Надя, услуги. В моей комнате на тумбе найди книгу Достоевского. И тащи сюда.

Довольная поручением дяди Сосо, Надя вприпрыжку побежала. Тот проводил ее долгим невыразительным взглядом. И опять обернулся к Каурову:

— Мы уже не люди малой нации. Рассчитались с отличительной ее психологией.

Кауров возразил:

— Не подменяешь ли ты классовую отличительность национальной?

— Ничуть, существует не только, скажем, психология мелкобуржуазности, но и мелкогосударственности.

— Мелкогосударственности? Откуда такой термин?

— Не я придумал. Старик однажды этак выразился про швейцарских социалистов: заражены психологией мелкогосударственности.

В столовую влетела Надя, протянула книгу. На кремовой обложке выделялось: «Ф. М. Достоевский. Дневник писателя». Однако Сталин сперва договорил:

— Я лишь иду за Стариком.

Поглядел на замершую перед ним девушку. Забрал у нее том, не поблагодарив хотя бы движением головы. Кратко сообщил:

— Купил как-то на развале. Вещь любопытная. — Неторопливо полистал. Отыскал нужное место. — Статейка называется: «Что значит слово: «стриюцкие?». Ознакомьтесь небесполезно.

Ограничившись таким предуведомлением, Коба огласил строки Достоевского:

— «Итак, «стриюцкий» — это ничего не стоящий, не могущий нигде ужиться и установиться, неосновательный и себя не понимающий человек, в пьяном виде часто рисующийся фанфарон...» — Прервал чтение. — От себя замечу: и не в пьяном тоже. Да и вообще хмелек бывает всякий. Опять опустил взгляд в текст: — «...часто рисующийся фанфарон, крикун, часто обиженный и всего чаще потому, что сам любит быть обиженным...» И все вместе: пустяк, вздор, мыльный пузырь, возбуждающий презрительный смех: «Э, пустое, стрюцкий». — Посмотрел на Каурова. Уразумел?

— Как тебе сказать... Все-таки чувствуется душок реакционности.

— Того, пощади! — едко бросил Сталин. — Лучше послушай-ка еще. — Опять принялся читать: — «Слово «стриюцкий, стрюцкие» есть слово простонародное, употребляющееся единственно в простом народе и, кажется, только в Петербурге». — Обратился к Аллилуеву: — Сергей, что скажешь?

Вдумчиво внимавший мастер отозвался:

— Присоединяюсь. Стрюцких рабочий народ не уважает.

Сталин засмеялся, то есть выдохнул несколько отрывистых, как бы ухающих звуков, напоминавших смех. Сочтя, видимо, излишним комментирование, обретя свою обыденную скупую манеру, повторил:

— Вещь любопытная.

И отодвинул книгу. Ее повертел Авель, передал Каурову. Беседа за столом коснулась каких-то иных тем. Коба слушал, покуривал. Так и не вмешавшись в разговор, он встал.

— Серго, пойдем ко мне. Кой-чем займемся. Ольга, за курицу тебе нижайшее... Ублаготворила.

— Скажи спасибо Наде.

— Мама, к чему?.. Дядя Сосо, я принесу вам чаю.

— Принеси.

Надя вмиг подхватила стакан Кобы, сполоснула, налила щедрую толику густой заварки.

— И вам, дядя Серго?

— Конечно. Чего спрашивать? — сказал Коба.

Блеснули взглянувшие на него Надины большие, серьезные глаза. Он спокойно вышел. Вскоре и Надя с подносиком, на котором уместились стаканы чая и варенье, скользнула за ним.

Извинившись, приложив руку к груди опять-таки в знак извинения, еще не прощаясь, Серго выбрался из-за стола. На пути к двери приостановился, обернулся к Аллилуеву:

— Сережа, ты заметил, какими глазенками она смотрит на Кобу? Приглядывай.

...Кауров все сидел, листал незнакомый ему том Достоевского. На некоторых страницах твердый ноготь Кобы оставил свои вдавлины. Вот отмечено несколько строк в главе: «История глагола «стусеваться»: «Похоже на то, как сбывает тень на затушеванной тушью полосе в рисунке, с черного постепенно на более светлое, и наконец совсем на белое, на нет». А вот и еще резкий след ногтя. Э, странная пометка. Глава называется: «Меттернихи и Дон-Кихоты». Бороздкой на полях выделены строки: «Дон-Кихот, хоть и великий рыцарь, а ведь и он бывает иногда ужасно хитер, так что везде не даст себя обмануть». Опять Дон Кихот, какая штука! О ком же Коба мыслил, всаживая тут мету? Кто же этот ужасно хитрый Дон Кихот?

Но тотчас Кауров устыдил себя. Какое право он имеет толковать-перетолковывать оттиснутые Кобой черточки? Говоря начистоту, это непорядочно. Кобу, наверное, просто интересуют великие образы мировой литературы. И нечего, какая штука, еще строить догадки. Долой их из головы!

...Платонычу в те дни больше не довелось поговорить с Кобой. Побывав наутро в Центральном Комитете партии, покрутившись еще сутки в Петрограде, член Иркутского Совета рабочих и солдатских депутатов большевик Кауров возвратился в далекую Восточную Сибирь.

50

С той поры и до вчерашнего юбилейного, в честь Ленина, вечера — то есть более двух с половиной лет — Кауров не встречался с Кобой.

Поразительный кусок истории, неохватный перегон уложился в эти короткие два с половиной года. Кауров в те времена так и не знал иной одежды, кроме воинской. Член штаба вооруженных сил Иркутского Совета, комиссар боевой группы, что дралась с чехословаками, захватившими узловые пункты сибирской магистрали. Комиссар дивизии, которая в один летний день тысяча девятьсот девятнадцатого вступила наконец в Сибирь, преследуя надломленного Колчака. Политработник, переброшенный на южный фронт против Деникина. Большевик из считанного числа старых (хотя ему минуло только тридцать лет), возглавлявший парткомиссию своей армии, парткомиссию, немилосердную к нарушителям коммунистической морали. И одновременно лектор партийной школы, неременный

докладчик по текущему моменту на всякого рода собраниях, постоянный и безотказный сотрудник фронтовой газеты.

Что же несет ему вырисовывающаяся впереди мирная, впрочем, в мыслях Кауров привычно выразился поточней: более или менее мирная, — новая полоса революции? Не придется ли еще оставаться в армии? Не предстоит ли переброска на польский фронт, откуда нависает опасность?

Вчера при нежданной встрече Сталин ему сказал: приходи в три часа в Александровский сад. Кауров загодя пришел сюда в сыроватый по-весеннему сквер, протянувшийся в низинке вдоль стены Кремля. Еще утром эта стена была подернута белесым слоем инея, ломкая корочка простерлась на садовых тропках, а теперь, в середине дня, солнце растопило и иней и лед.

Поджидая Кобу, Кауров облюбовал скамейку на припеке, удобно расположился, снял фуражку, обнажив ребячески тонкие светлые волосы. В саду кое-где нежно зеленели стебельки молодой травы, пробившейся сквозь темную палую листву. На еще голых вековых липах смолисто поблескивали набухающие почки. Востроглазый фронтовик углядел и несколько едва развернувших голубые чашечки подснежников, притаившихся близ серой груды рухнувшего бетонного памятника Робеспьеру. Так укрылись, что никто из гомонящих поблизости детдомовцев, увлеченных «палочкой-выручалочкой», не обнаружил, не тронул хотя бы один голубоватый глазок. Захотелось сорвать эти неприметные цветы, украсить весенним букетиком распахнутую свою шинель. Алексей Платонович с безотчетной мальчишеской улыбкой приподнялся, но тотчас себя остановил. Куда его, какая штука, понесло? Где его солидность ответственного военного политработника? Можно не сомневаться, Коба вскинул бы бровь, не затруднился бы вышутить его букетик.

Кауров метнул взгляд по сторонам: не идет ли уже Сталин?

Нет, среди прохожих в длинном просвете аллеи тот не обнаружился.

Что же, у Каурова с собою в шинели пачка сегодняшних газет, добытых в Политуправлении Красной Армии. «Правда» и «Известия» уже читаны, в обоих помещены небольшие заметки о вчерашнем чествовании Ленина. Выступлению Сталина уделено лишь две-три строки. А вот и газета Московского комитета партии «Коммунистический труд». Э, тут гораздо более подробный отчет. Автор, видимо, делает только первые шаги на журналистском поприще, его выручает непосредственность:

«Ленина нет и, говорят, не будет, на 8 часов вечера нарочно созвал заседание Совнаркома, чтобы не идти на юбилей».

Даны кусочки речи Горького. И снова схваченные журналистом с природы штрихи:

«Характеризуя огромную фигуру Ленина, Горький поднимает широкую руку выше головы. Этот жест руки, поднимающейся выше головы, как он только во время речи упоминает о Ленине, повторяется все время».

Наскоро очерчен и Сталин. Позволим себе привести полностью эту относящуюся к нему выдержку, документ времени, не тронутый ни фимиамом, ни обличениями позднейших годов:

«Слово получает Сталин, бессменный цекист с подпольных времен, грузин, не умеющий говорить ни на одном языке, в старину один из преданнейших подпольных работников, ныне победитель Деникина на южном фронте. То обстоятельство, что Сталин говорить совершенно не умеет, именно и делает его речь крайне интересной и даже захватывающей. О Ленине говорить хорошо, красиво нельзя. О нем можно говорить только плохо, не умея, только от души».

Кауров пробежал это с улыбкой, которая сделала приметными ямочки на еще бледноватых после болезни щеках. Победитель Деникина. Приятно, что так сказано о Кобе. Вспомнилось: Коба когда-то казался ему будущим русским Бебелем. Конечно, параллель была наивной. Платоныч легко признает тогдашнюю свою наивность. Русская революция, как ей и предназначено, породила своих выдающихся людей, ни с кем из прошлого не схожих. Никому не уподобишь и Кобу, ее сына!

Далее в отчете содержатся впечатления о появившемся Ленине:

«После перерыва все-таки привезли Ленина, веселого, брызжущего жизнью и радостью, по-видимому, после только что оконченной работы. Зал весело гудит и встает».

Кауров дочитывает заметку и опять улыбается, поглядывая туда-сюда.

51

Э, вон, кажется, завиднелся шагающий Коба. Да, приближается сюда от Троицких ворот. Идет не быстро и не медленно в веренице прохожих, не оглядывающихся на него. Голенища сапог скрыты лапами длинной шинели. Плотной надвинута меховая потертая шапка-треух с подвязанными наверху боковинами. Хилватая левая рука одета в варежку. Что-то он в ней держит. А, вяленую крупную воблу. Вот сильными пальцами правой руки Коба отламывает рыбку голову, швырком запускает в сторону. Содранная чешуйчатая шкурка тоже летит наземь. Зубы отдирают кусок спинки. Так он и идет, пожевывая, держа в варежке распотрошенную воблу, народный комиссар по делам национальностей, член Политбюро и Оргбюро Центрального Комитета партии.

Кауров поднимается навстречу:

— Здравствуй, Коба.

— Здравствуй, мыслитель.

По тону, по взгляду не уловишь, что же кроется за этим «мыслитель». Насмешка или, может быть, уважение? Свежевыбритое лицо испещрено веснушками, что забрались в самую глубину оспин. Усы молодо торчат вразлет, заостряясь к кончикам. Верней всего, он просто дружески шутит.

Но кто эта женщина, остановившаяся одновременно с Кобой шагах в трех-четыре позади него? Кауров мельком приметил еще издали, что следом за Сталиным двигалась женская фигурка в темном жакете, в темной же матерчатой шляпке. Голова идущей была наклонена, глаза потуплены. Чудилось, от нее веет чем-то грустным. Однако Платоныч не сразу ее распознал, внимание было отдано подходившему Кобе. Затем к ней кинуло:

— Наденька, вы?

Кауров и сам не понял, откуда взялось его удивление. Ведь было известно, что Надя стала женой Кобы. Но как-то не вязалась с отложившимся в памяти обликом то игривой, то серьезной носатенькой девочки, умевшей и взбунтоваться, представшая взору картина: жена плетется позади мужа, словно блюдя патриархальщину Востока. Да еще несет какой-то упакованный в газетную бумагу, стянутый бечевкой, видно, увесистый сверток. Быстро она изменилась...

Однако Надя смотрит с улыбкой на Каурова:

— Я, Алексей Платонович, я...

Черт дерит, пожалуй, ему лишь вообразилось, что от нее доносится разочарование. И вовсе она не поникшая. В оттененных прямыми черными ресницами больших глазах искрится юмор. Приоткрывшиеся белые зубы, как и раньше, красят смуглое, правильного овала лицо. Да, проглянула прежняя веселая добрая девочка. То есть, конечно, уже не девочка. Но сколько ей лет? Кауров прикинул: какая штука, всего девятнадцать. А что? Пожалуй, по виду больше и не дашь. Даже не верится, что минуту назад она показалась ему совсем другой.

— Наденька, как я вам рад.

Она тотчас откликается:

— Нечаянная радость?

Этот ее возглас как бы вызывает из минувшего квартиру-вышку на 10-й Рождественской, столовую с портретами четы Аллилуевых, с черно блестящим пианино у стены. Ольга Евгеньевна намеревалась вынуть из поданного Иосифу стакана всплывшую чайнику. Тихая тут, Зина Орджоникидзе проговорила: «А у нас это считается приметой. Нечаянная радость». И Сталин изрек: «Слыхивал». Неужели именно в этот вечер ему, не знававшему мягкосердечия революционеру, судьба принесла нечаянный дар вдруг занявшуюся пламенем любовь шестнадцатилетней девушки, девушки, которая, должно быть, тогда еще не сознавала, сколь глубоки, неистребимы ростки впервые изведенного чувства, пронизавшие ее цельную натуру.

Нечаянная радость... Несколько месяцев спустя в той же квартире, в той же столовой справили свадьбу Сталина и Нади. Опять участниками вечеринки были и Авель Енукидзе, что при регистрации брака расписался как свидетель со стороны жениха, и вернувшийся с Кавказа Серго Орджоникидзе. Лишь не было Каурова, обретавшегося в сибирском далеке, клопочущем, как и вся Русь. В какую-то минуту пирушки Сталин дал волю страстям, которые его переполняли, схватил со своей тарелки куриную ногу и с маху швырнул в стену. Сергей Яковлевич укоризненно качнул головой. Коба ударил себя в грудь:

— Кавказец!

Так и осталось на обоях несмываемое подтекшее пятно — след счастливейшего дня, памятный знак свадьбы.

...Теперь близ стены Кремля Коба, поглощая воблу, безмолвно прислушивался к разговору Нади и Каурова. Она сообщает Платонычу кое-что о себе: обучилась машинописи, была в 1918 году вместе с Сосо в Царицыне, жили в вагоне, там же находился и ее, машинистки, рабочий столик.

— Заболталась! — прерывает Сталин. — Ему твои рассказы не интересны.

Осекшись, Надя сводит на миг брови, потупляется, но тотчас верх берет живость характера. Взглянув вновь на Каурова, она комически сокрушенной улыбкой как бы извиняется за грубость Кобы. В глазах можно прочесть: вы же его знаете. Кауров говорит:

— Надя, мне слушать вас очень интересно.

— Ты, Того, известный бабий угодник.

Жена Сталина уже не решается распространяться о себе. Лишь произносит:

— Работаю теперь в секретариате Совнаркома. Опять машинисткой.

— Ну, наговорилась? Долго ли еще заставишь ждать?

Понукаемая Кобой, Надя переходит на скороговорку, к тому же несколько смущенную:

— Алексей Платонович, я узнала, что вы в Москве болели. И всего два или три дня, как поднялись... Вот вам...

Она протягивает ему обернутый газетой тючок.

— Что это? Зачем?

— Пустяки. Две банки какао. Сахар. Коржики моего изготовления. Вам для поправки.

— Надя, ни в коем случае! Пусть это пойдет Кобе. Видите, какой он у вас худенький. Ему тоже нужно сладкое.

— Не думайте, его не обездолим. Он этого не ест. На сладкое предпочитает воблу. После обеда засовывает в карман и...

Опять шаловливо-сокрушенная гримаска оживляет лицо Нади, она вновь будто просит извинить его чудачества.

— Бери, Того, бери. Чего ее обижаешь?

Кауров принимает подарок. Чем же отплатить? Подмывает нагнуться к голубым цветкам, припрятавшимся меж обломков памятника, и вручить Наде букетик. Однако взор Кобы тяжел, даже молчанием он как бы повелевает жене: уходи, не отнимай времени!

Она, больше не задерживаясь, прощается с Кауровым. И, быстро ступая в незатейливых, на низком широком каблуке ботинках, удаляется по тропе сада, оставляя мужчин наедине.

52

— Садись, Того, потолкуем.

Оба усаживаются на скамью. Сталин освобождается от меховой шапки, пятерней зачесывает, как гребнем, свои жестко вздыбленные волосы. Затем вытаскивает из шинельного кармана еще рыбину, потчует Каурова:

— Грызи!

— А ты? У тебя же больше нет.

— Ну, разделим надвое по-братски.

В руках Кобы трещит, переламываясь, хребтина воблы, рвутся напитанные солью волокна, сыплются сухие чешуйки, он протягивает другу лучший кус, довольствуясь меньшей половиной.

— Какие, Того, у тебя планы? Куда думаешь податься?

— Думать не приходится. Поеду к себе в армию.

— Но сам что бы хотел делать? Открывай свои задумки.

— Кое-что замыслил. Мечтаю написать книгу.

— Книгу? О чем же?

— О коммунистической морали.

— И какова главная мысль?

— Понимаешь ли, если сказать коротко, буду трактовать проблему; власть и мораль. — Кауров выбрасывает ладонь, указывая на громоздящиеся остатки памятника. — Кстати, и Робеспьер когда-то говорил: власть без добродетели гнусна, добродетель без власти бессильна.

Э, Коба, кажется, заинтересовался. Во взгляде мелькнуло знакомое вбирающее выражение. Он, однако, возражает:

— Во-первых, абстрактной добродетели не существует. Для нас добродетельно лишь то, что служит победе революции. Во-вторых, сначала отстоим нашу власть, а уже потом будем писать книги.

— Разве же мы ее не отстояли?

— Раненько успокаиваешься.

— Да вовсе я не успокаиваюсь. Придет опасность, окажусь в деле. Но ты меня спросил про мои мечтания. Кауров смущенно добавляет: — Лежал больным, какая штука, а на уме книга.

— Ладно, пока это отложим. Коба швыряет обглоданный хребетик. Что скажешь о моем вчерашнем выступлении? Выкладывай напрямик.

Кауров все же сперва запинается. Ему требуется, как и не раз в прошлом, одолеть некую словно бы пригибающую незримую силу, источаемую Кобой.

— Ты, какая штука, всегда оригинален. Я бы назвал тебя большим оригиналом.

— Комплимент сомнительный. Ну, не ходи вокруг да около. Давай по существу.

— Видишь ли... Что же у тебя получается? Кауров наконец перестает мяться, слова вольно полились: — Ленин велик, не видит ни ям, ни оврагов на своем пути.

Коба слушает не перебивая. Его собеседник продолжает:

— И потом... Как же это так? Октябрьская революция произошла вроде бы вопреки тому, что он советовал.

— Ты не понял. Не вопреки... Старик — великий стратег партии. Он указал нам единственно верное направление действий. Мы, практики, лишь кос в чем его поправили. Некоторые конкретные подробности нам, небольшим людям, были виднее. Коба по давнишней манере отделяет паузами фразу от фразы. А как же иначе? Как иначе может жить партия?

Он упирает взгляд в Каурова, ожидая ответа. Платоныч не находит опровержения. В самом деле, как опрокинешь эту несокрушимую ясную логику? Сталин высказывается далее:

— Да, в отдельных частных несогласиях мы проявили твердость против Старика. А как же иначе? — Речь привычно уснащена повторением риторического оборота. — Как же иначе? Мы идем за ним не слепо, а с открытыми глазами. Он и сам не потерпел бы другого к себе отношения. Лишь какой-нибудь фальшивый аристократ духа, фальшивый барин жаждет слепого преклонения. — Коба выговорил это со злостью, которую перед Кауровым не счел

нужным скрывать. В марксистской партии такие долго не заживутся. Теория героя и толпы, культ личности нам чужды и, надеюсь, не проникнут в нашу партию... Что, не согласен?

Кауров не может не признать убедительность слов Кобы. И произносит:

— Согласен.

— Что же, по этому случаю закурим трубку мира.

Сняв варежку с несвободно двигавшейся левой руки, Сталин достает из кармана трубку и жестянку с табаком, выбивает чубук о скамеечную доску, смахивает пепел. Кауров говорит:

— Все-таки надо бы тебе полечить в Ессентуках руку. Кавказ теперь стал нашим. Лечись.

— Когда-нибудь съезжу. Возможно, и с тобой там повидаемся.

— Э, меня-то туда, наверное, не отпустят.

— Как знать... Попросим, отпустят.

Платоныч поднес Кобе спичку. Свернул и для себя самокрутку. Подымили, помолчали. Опять заговорил Сталин:

— Новые времена — новые переброшки. Перебросим, Того, и тебя в другое место.

— На польский фронт?

— Польша — эпизод. Последняя тучка рассеянной бури. Будем глядеть дальше. Россия, Того, велика. Всюду нужны люди. Намечаем демобилизовать тебя из армии, послать на мирную партийную работу, Что скажешь?

— Да мой сказ тебе известен: куда партия пошлет, туда и отправлюсь.

— Не очень, впрочем, мирную. Штатские ботиночки нам с тобой надевать рано. В Дагестан тебя сосватаем.

— В Дагестан? Коба, но я же никогда там не бывал. Не знаю уклада, обычаев...

— А где наберем знающих? Бывал, не бывал, Россию сплачивать надо. Старый кавказец, ориентируешься. Да и тут немного познакомим с обстановкой. Будешь работать заместителем секретаря Дагестанского обкома и редактором газеты.

Сталин затем кратко информирует: получена телеграмма Серго Орджоникидзе, который объездил города и аулы Дагестана, откуда Красная Армия прогнала деникинцев. Основная масса населения встречает нас восторженно. Но существует опасность появления банд, опирающихся на богатые верхи. Есть, конечно, и промежуточные элементы, коим доверять нельзя. Серго умоляет дать крепких работников. На Кавказе прежде всего встретишься с ним, он введет в курс дела.

— А твое, Коба, напутствие?

— Будь тверд. Покажи колеблющимся, кто мы такие... Пожалуй, перед твоим отъездом еще поговорим.

Откинув шинельную полу, Сталин извлекает из кармана брюк белый свежий платок, о котором, наверное, позаботилась жена, вытирает поблескивающие жирком воблы пальцы. И достает из голенища военную полевую книжку.

В эту минуту откуда ни возьмись промелькивает оса, рано оживленная теплыню. И, вдруг вернувшись, принимается летать над головой Кобы, очерчивая и очерчивая круги. Тот отмахивается.

— Ты с ней осторожней! — говорит Кауров. — Это сумасшедшая. Вылетела раньше срока. Ужалит.

— Чего ей от меня понадобилось?

— Должно быть, в тебе есть что-то особенное.

— Того, это лезть? Не надо. Не люблю.

Оса близко носится над Кобой. Явственно видны черные и желтые полосы брюшка. Коба последил за ней.

— Ну, летай, летай. Полетаешь, устанешь и сядешь. И тогда я тебя убью.

Более не обратная внимания на крылатое, вооруженное жалом существо, повторяющее и повторяющее свои круги, он спокойно раскрыл книжку, взял находившийся в ней карандаш, стал перебрасывать страницы.

— Зайди в среду в девять утра в Наркомат национальностей. К этому дню утвердим тебя постановлением Оргбюро. В наркомате подготовим кой-какие материалы... Да, еще вот что: если тебе скажут, что меня нет, все равно иди ко мне. Они не знают, что я на месте.

— Странный у тебя порядок.

— Хожу через черный ход прямо к себе.

Оса меж тем опустилась на слегка скошенный лоб Кобы, поползла к краю волос и замерла. Сталин словно бы с полной невозмутимостью что-то черкнул в своей книжке. И вдруг поистине молниеносным движением его рука взметнулась и... Расплющенная умертвленная оса свалилась на шинель.

— Лихо! Не ужалила тебя?

— Обошлось.

Щелчком Сталин стряхивает на землю недвижимое маленькое туловище да еще втаптывает подошвой.

— Не только убей, но раздави!

Он поднимает упавший карандаш, уместает в книжку, сует за голенище.

— Коба, все-таки объясни. Почему ты завел этакое: в наркомат с черного хода?

— Меньше будут видеть, больше будут бояться.

Опять не разгадаешь, то ли Сталин шутит, то ли говорит всерьез.

Натянув шапку, он встает. Живо вскакивает и Того.

— Меня не провожай! — повелительно роняет Коба.

И ничего к этому не добавляет. Чудится, будто, как и в минувшие годы, его овеивает некая таинственность. Крепким рукопожатием распрощавшись с Кауровым, невысокий человек в

шинели и шапке не быстро и не медлительно шагает вдоль вековой зубчатой стены в направлении Красной площади, теряясь среди прохожих, не оглядывающихся на него.

1967–1970

Примечания

1

В рассуждении Каурова неточность: в число кандидатов входил и третий — Калинин. (Прим. ред.)